

ЕВГЕНИЙ
ГРИШКОВЕЦ
ТЕАТР
ОТЧАЯНИЯ
ОТЧАЯННЫЙ
ТЕАТР

МЕМУАРНЫЙ
РОМАН



Евгений Гришковец

Театр отчаяния. Отчаянный театр

«Автор»

2018

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Гришковец Е. В.

Театр отчаяния. Отчаянный театр / Е. В. Гришковец — «Автор»,
2018

ISBN 978-5-389-14762-1

Роман называется «Театр отчаяния. Отчаянный театр». Эта объёмная книга написана как биографическая история, но главным героем романа является не человек, или не столько человек, как призвание, движущее и ведущее человека к непонятой человеку цели. Евгений Гришковец

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-14762-1

© Гришковец Е. В., 2018
© Автор, 2018

Содержание

ГЛАВА 1	6
ГЛАВА 2	35
Конец ознакомительного фрагмента.	89

Евгений Гришковец

Театр отчаяния. Отчаянный театр

Не знаю, как это бывает вообще и у других людей, случается ли такое с каждым... Не знаю, потому что я живу свою, и только свою, жизнь, но со мной это было. Я отчётливо, во всех подробностях помню событие, которое определило суть, содержание и само течение всей моей жизни. Не знаю и не могу знать, чем бы я жил и что делал, не случись того события со мной. Не знаю, поскольку оно случилось. Мне неизвестно, пришёл бы я к театру, вышел бы на сцену, стал бы делать спектакль, писать пьесы, а потом и литературу без того вполне случайного, неожиданного и теперь кажущегося магическим события. СО БЫТИЕ... Нет более точного слова, более верного названия для моей первой настоящей встречи с театром.

Как много раз я отчаянно проклинал и так же благословлял тот день, когда произошла та встреча! Мне кажется, что я вспоминаю её каждый день, как бы пафосно и театрально это ни звучало. «Бедный я, бедный, несчастный и одинокий, запутавшийся и уставший... За что мне это?! Было столько ясных и радостных путей... А я шагнул на этот... на путь тоски и одиночества», – говорю и говорю я себе в минуты, часы, дни, а то и месяцы непонимания и ощущения тупика в том деле, которым живу и кроме которого, в сущности, давно ничего не умею. «Зачем мне тогда подвернулся тот злосчастный билет? Зачем он мне подвернулся? Почему его не купил кто-то другой?» – повторяю и повторяю я в отчаянии.

«О счастливец, как же тебе повезло в жизни, что ты так рано, без глупых метаний и ошибок, ничего сам не выбирая, не блуждая в сомнениях, совершенно случайно оказался на чудесном пути, по сравнению с которым все остальные – просто суета и скучные тропинки. Какое счастье, что тогда на тот самый спектакль остался один-единственный последний билет и его никто не успел купить до тебя», – радостно убеждаю я себя в моменты ясности и отчаянной веры в свои замыслы и силы.

То, как я встретился с театром, похоже на то, как попал в театр Буратино, с той лишь разницей, что Буратино угодил в театр в день своего появления на свет. Ему повезло или не повезло сразу. Мне же повезло или не повезло за месяц до семнадцатилетия.

ГЛАВА 1

ПОСЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ

То самое, изменившее всю мою жизнь событие, произошло в мои последние школьные каникулы. Я тогда не знал и не мог знать, что они окажутся самыми последними настоящими каникулами в моей жизни. Я не придавал им никакого значения. Каникулы себе и каникулы. Зимние. Короткие. Я от них ничего особенного не ждал. А ещё я тогда не знал, что всё самое значительное и сильное в жизни происходит тогда, когда ты ничего не ждёшь и ни к чему особенному не готовишься.

В последнем, десятом, классе учиться совсем не хотелось. Впереди маячили страшные выпускные экзамены, но думать о них было жутко, а готовиться к ним было непонятно как. Школьная жизнь казалась бесконечной, потому что другая была неведома. Иную жизнь невозможно было представить. Вот я и не представлял её, обещая себе, что начну готовиться к этой неведомой жизни и к экзаменам после Нового года и после зимних каникул.

В первую половину последнего школьного года у меня, да и у всех одноклассников, неожиданно обнаружилось довольно много свободного времени. Все мы уже хорошо умели исполнять свои школьные обязанности и осуществлять школьную жизнь. В этом процессе сугубо учёбе отводилось меньше всего сил и времени. Мы хорошо знали учителей, они знали нас, всё всем про всех было понятно. Главное было не допустить какой-нибудь значительной оплошности и не нарушить сложившийся уклад. Учителя, конечно, нас пугали экзаменами и возможностью сломать себе всю жизнь ещё в школе. Мы, как могли, боялись, да и то не все. Я был из числа тех, кто всё же побаивался, поскольку мне было не всё равно, что будет в моём аттестате, но в то же время я не был тем определённым отличником, который не вызывал беспокойство учителей. Я и учителя опасались друг друга. Я был из той неприятной категории учащихся, про которых говорили на родительских собраниях: «Если бы он только постарался, если бы взялся!..»

А я не хотел браться за то, за что не брался в прежние школьные годы. Алгебра, геометрия, физика. Для меня эти дисциплины были бездонны и темны. А вот с историей, литературой, географией всё было понятно, а стало быть, и заниматься этими предметами уже можно было только для видимости и для успокоения учителей.

Я много читал. Очень много. Наверное, больше всех в классе. И больше всех своих знакомых. Сколько же тогда было прочитано книг, которые были мне понятны едва, а то и вовсе не понятны! Преждевременные были книги. Но чтение было процессом упоительным и запойным. А ещё чтение давало мне возможность собой гордиться и считать себя более передовым и значительным, чем мои одноклассники и другие сверстники, которые составляли моё тогдашнее общение.

Так уж получилось, что в школьные годы я не попробовал алкоголя. Разве что разок, да и то, что называется, понюхал. Я не бегал на большой перемене с другими за школу покурить. У меня совершенно не клеились отношения с девочками. Ну совсем.

Алкоголь и курение воспринимались тогда мною как что-то совершенно недопустимое. Таково было воспитание. Я даже представить себе не мог ситуации, чтобы мама унюхала от меня запах выпивки или сигарет. Сами мысли об опьянении пугали, как мысли о некой страшной болезни. А курение страшило, как болото со смертельной трясиной, в которую стоит сделать только шаг – и засосёт, не вырвешься.

Конечно же в классе была группа тех ребят и девочек, которые, кстати сказать, учились хорошо и вообще были законодателями всех школьных процессов, однако они и курили, и выпивали, и даже устраивали некие вечеринки у кого-то на квартирах и дачах. Вечеринки

происходили с выпивкой и музыкой. Понятное дело, что разговоров об этом было больше, чем сути. Но это случалось у моих одноклассников, а у меня нет. Я не был приглашён в тот запретный мир, где происходило то, чего нестерпимо хотелось, но было для меня категорически невозможно. Целомудренное было время и общество!

Вот я читал, читал, читал. И убеждал себя, что чтение – это полезно для развития и будущей жизни, а безделье с девочками и пьянкой – это скотство и деградация.

Удивительно! Тогда очень многое оценивалось с точки зрения пользы и практического смысла. Со смыслом жизни всё вообще было в порядке. Жизнь тогда имела определённый смысл, и он не подвергался сомнению.

Короче говоря, я в школьной своей жизни, в своём классе, был на особом положении. Я выказывал пренебрежение любой праздности, не упускал случая высмеять глупости, которыми в основном грешили девочки, демонстрировал пренебрежение авторитетам и общему мнению, всячески оригинальничал, при любой возможности старался блеснуть знаниями, начитанностью и весьма отдельными от всех интересами. При этом я совершенно искренне удивлялся, почему в классе меня не любят, часто избегают и периодически хотят бить. И почему девочки никак не заинтересуются мною, таким необычным, интересным и многообещающим.

Драться приходилось. Драк я не избегал. Мучился сомнениями, считая драку дикостью и безумием, но не уступал. Даже был излишне задирист, полагая, что стыдно бояться и пасовать перед теми, кто не читал и не читает книг, а также не стремится к развитию. Я ни в коем случае не хотел числиться заумным тьюфом или глубокомысленным рохлей. Думаю, меня считали спесивым чудачком и придурком, но в конце концов подначивать, «брать на слабо» перестали и оставили в покое. То есть у меня было много времени и одиночества. Но чудесное свойство юности не давало мне унывать.

А ещё я слушал музыку! Рок. Это было самым прекрасным переживанием. Рок-музыка! В ней была моя свобода и настоящая страсть, трепет души, преданность и любовь.

Через рок-музыку у меня появилось общение вне класса и моей школы. Я обзавёлся взрослыми знакомыми, а вместе с ними у меня появились и разговоры, наполненные только музыкой. Музыка была моей особой гордостью, а знание её – визитной карточкой и рекомендацией в сообщество людей, которые существовали и жили высшими смыслами.

Тогда я ещё с упоением смотрел кино. Кино настоящее, кино, которое можно было увидеть, только посещая кино клуб или специальные показы. Там собиралось общество людей, которые днём жили как все – были инженерами, врачами, преподавателями, аспирантами или форменными бездельниками, но при этом знали, где и когда можно посмотреть хорошее и отдельное от того, что шло в больших кинотеатрах, кино.

Правда, хорошего кино было мало. Закрытые показы и кино клуб случались редко. Эпоха возможности смотреть кино самостоятельно и у себя дома ещё не наступила.

Всё, что только было доступно в области культурной и художественной жизни в городе Кемерово в пору моей юности, было мне известно и мною исследовано.

Живопись вызывала у меня любопытство, но заметных и интересных живописных событий в городе не случалось. Рассматривать же портреты шахтёров, сталеваров, любоваться индустриальными пейзажами или унылыми зарисовками сибирской природы на отчётных выставках местного отделения Союза художников не хотелось совсем. Это теперь я люблю эти картины и нахожу много радости в их унынии. Тогда же меня от них тошнило. Так что живопись в моём понимании находилась где-то там, в столице или Эрмитаже.

На самом же деле в Кемерово живопись существовала для меня тогда только в редких и ценных больших книгах-альбомах. Книг таких было мало. Ради таких книг можно было даже ходить вместе с родителями к кому-то в гости и терпеть скуку, если в том доме, куда мы шли,

можно было взять и посмотреть такие книги. И всё же берусь утверждать, что какая-то живопись для меня в том моём возрасте существовала.

Театра же в той моей жизни не было совершенно. Про оперу и балет я даже не говорю, они отсутствовали полностью. Дело даже не в том, что в Кемерово не было и нет театра оперы и балета, а в том, что эти виды человеческой жизнедеятельности вообще были для меня чем-то в высочайшей степени странным. Я, разумеется, знал, что в мире существуют опера и балет. Я видел по телевизору какие-то фрагменты опер или выступления оперных певцов с оркестром. Это были странные, в основном тучные люди, которые противоестественно двигались и так же противоестественно пропевали слова. Я даже не пытался вслушаться и попытаться понять, нравится мне это или нет. Это просто было не для меня, и всё. Балет вызывал подобное к себе отношение. Он понимался мною как что-то механическое, сложное и как нечто вполне научное, в чём необходимо серьёзно разбираться, как, например, в биохимии или термодинамике, а без глубоких и очень специальных знаний ничего понять невозможно. Помимо всего прочего я не видел, не был знаком и не встречал в той своей жизни ни одного человека, который любил оперу и балет и мог бы хоть что-нибудь об этом сказать.

А значит, опера и балет находились за пределами мира, которым я жил. В моём мире по отношению к опере и балету царило общее почтительное безразличие.

Драматический театр не существовал для меня иначе.

В здании областного театра я бывал неоднократно, видел спектакли, знал людей, которые театр этот любили, и даже у моего отца была одна коллега, чей муж был актёром нашего театра. Актёром ведущим, игравшим главные роли. Его фотография висела в фойе театра, пару раз мне родители показывали его фото в газете, и однажды, прогуливаясь по центру города с родителями, я видел его просто так, среди бела дня, выходящим из магазина.

То есть театр в отличие от оперы и балета был вполне реальным и земным. Здание его красиво стояло и стоит в самом центре города, рядом с ним был и есть единственный в городе настоящий фонтан, остановка возле фонтана так и называлась «Драмтеатр». Это название вполне буднично произносили вожатые троллейбусов, кондукторы и водители автобусов. Возле театра менялись афиши, периодически на фасаде появлялась яркая надпись «Премьера». Мне не раз доводилось видеть много людей, входящих или выходящих из театра. Это были люди, которые жили со мной в одном городе. Я и сам, правда не по своей воле, а по воле учительницы литературы и дирекции школы посещал театр. Короче говоря, театр был реальным, но ненужным, по крайней мере мне с моими книгами, кино и рок-музыкой.

Что я видел в театре до моих последних в жизни каникул до подлинной встречи с театром как с искусством? Я видел новогодние сказки, которым, наверное, радовался, как и все остальные дети. Но это осталось где-то в дошкольном времени. В младших классах нас тоже на что-то водили в театр. Но тогда буфет, беготня по гулкому фойе и по мраморным лестницам были интереснее самих спектаклей. Очень интересовал и вызывал желание маленький театральный бинокль, но нам их не давали.

Из всех спектаклей раннего детства запомнился только «Кот в сапогах». Помню, что было смешно, но главное и удивительное в том спектакле было то, как актёр, исполнявший роль кота, выпучивал глаза. Это было поразительно, и я догадывался, что абы кто, не работающий в театре и не актёр, так выпучить глаза не сможет. Такому надо было учиться.

Как выяснилось позже, актёр, исполнявший роль кота, пучил глаза во всех своих ролях совсем даже не сказочных.

Классе в шестом, когда мы начали проходить по литературе отечественную классику, нас стали водить в театр довольно часто. Водили всем классом принудительно на спектакли по тем произведениям, которые входили в школьную программу. На тех спектаклях зал заполнялся в основном учениками разных возрастов из городских школ. Иногда мы смотрели постановки

по тем пьесам, которые ещё не проходили и не читали. Нам показывали их, что называется, впрок. Такие спектакли мне лично были вообще непонятны.

Уверен, что актёры ненавидели дни спектаклей для школьников. То, какие безобразия мы устраивали в зале, особенно к концу очередного акта пьесы, было, конечно, страшной мукой для работающих на сцене людей. Мы с самого начала спектакля ёрзали, извивались в неудобных креслах, мучились от нежелания сидеть на месте и соблюдать тишину, шелестели программками, фантиками и вообще всем, чем только можно было шелестеть. Кто-то подолгу доедал, купленное в буфете. Театральные бабушки на нас шикали, шипели, одёргивали, но они нам были не указ. Учителя тоже строжились, мы их опасались, так как посещение театра приравнивалось к уроку. Но жажда жизни брала верх. Мы быстро уставали от сидения на месте, начинали дёргать и щекотать девочек, добиваясь повизгивания или выкриков типа: «Галина Фёдоровна, а чего Коновалов...» К какому-то моменту спектакля многие из нас из программки делали трубочки. А билеты нами сжёвывались и улетали в ту сторону, где сидели ученики другой школы. Периодически в темноте зала возникала возня и борьба. Драки тоже случались, но редко. А к окончанию акта начинался массовый исход в туалет. Возвращались не все. Уходы и возвращения совершались громко. Чацкий же, Кабаниха, Онегин, Хлестаков и другие персонажи жили отдельной, своей и неинтересной нам жизнью, лица их были отрешёнными и несчастными.

Главное, что запомнилось мне в театре того моего времени, то есть в возрасте одиннадцати-тринадцати лет, – это абсолютно несчастные лица актёров. Театр же в целом стал восприниматься через несчастье, через тоскливое выражение лиц всех персонажей отечественного классического театрального репертуара.

Осенью последнего школьного года я побывал в театре три раза. Два раза тоже с классом и один раз самостоятельно. Старшеклассников уже трудно было загнать в театр, и поэтому ходили те, чьё домашнее воспитание обязывало следовать школьным требованиям.

Той осенью во время первого после начала учебного года посещения театра я оказался, можно сказать, впервые среди театральной публики, которая пришла по своей воле и хотела видеть спектакль. Эта публика меня заинтересовала.

Люди в театральном фойе, у гардероба, в буфете и даже у туалетов вели себя иначе, чем где-либо вообще. Они неспешно ходили, говорили негромко, не толкались, многие здоровались со многими. Театральные бабушки вдруг оказались любезны, улыбки, охотно говорили с теми, кто покупал программки, что-то объясняли. В гардеробе, о чудо, мне предложили бинокль, который, к сожалению, был мне уже неинтересен.

Все в театре были более или менее нарядны и торжественны. Некоторые даже слишком нарядны. И все были слегка печальны. Все были не такими, как там, за пределами театра, как на улице, в магазине, в транспорте, и даже не такими, как на сеансе в кино. В театре люди были печальны особым образом. Я увидел их лица и догадался, что они именно за этой печалью и пришли. Однако я пришёл в театр не за этим. Меня привели школьные обстоятельства. Я не хотел печалиться, но понимал, что вести себя так, как я привык, среди общей торжественной печали нельзя. Я почувствовал тогда себя чужим. И мне стало любопытно.

Билеты в школе нам выдали на балкон и очень далеко от сцены. Но с этого балкона за минуту до начала спектакля я разглядел несколько свободных мест внизу в первых рядах партера. И неожиданно для самого себя помчался и занял одно из них, буквально за мгновение до того, как занавес пополз в стороны. В тот вечер давали спектакль «На дне» Горького.

Тогда я впервые смотрел спектакль нашего драмтеатра всерьёз и вне окружения одноклассников.

Спектакль «На дне» мне не понравился с самого начала. Должен признаться, что пьеса Горького мне нравилась. Даже очень. Но я себе в этом не признавался. И тем более не признавался одноклассникам, а также учительнице литературы. Всё, что входило в школьную про-

грамму, следовало презирать, высмеивать и по возможности игнорировать. Всё! От Деда Мазая с Муму, замученных некрасовских мужиков и вплоть до Достоевского.

Когда открылся занавес, я увидел какое-то нагромождение деревянных лестниц, многоярусных коек, переплетения верёвок и свисающих тканей. Это следовало понимать как ночлежку, в которой всё у Горького в пьесе и происходит. И всё это было некрасивым, очевидно, каким-то хлипким, шатким, скрипучим и ужасно ненастоящим.

Мне не нравилось в спектакле всё без исключения. Я не понимал и не хотел понимать, почему актёры бегают, когда бегать не надо, почему они всё время так громко говорят, почти орут, почему так ужасно топают и машут руками. Костюмы на артистах были под стать декорациям. Грим тоже. Всё, что я видел на сцене, состояло из фальши и неправды.

Невозможно было поверить в то, что кто-то мог пылать страстью к хозяйке ночлежки в исполнении единственной народной артистки нашего театра. Васька Пепел был явно немолодым человеком, очень выдавал актёра свистящий, сильно прокуренный голос и одышка. Особенно забавным было то, что Сатина играл актёр, запомнившийся мне по роли Кота в сапогах. Сатин и кот пучили глаза одинаково. Даже вода, которую персонажи пили и изображали, что пьют водку, была какая-то фальшивая. Эта вода играла роль водки так же плохо, как актёры, её пившие.

Однако в зале стояла благоговейная тишина с редкими покашливаниями. Публика иногда одобрительно вздыхала, посмеивалась, а то и в голос смеялась. Единодушно. Один раз за первый акт зал зааплодировал особенно громкому, надрывному и длинному монологу.

С какого-то момента мне стали интереснее зрители, чем происходящее на сцене, и я начал вертеть головой. Это случилось во втором акте, когда аплодисменты зазвучали чаще. Я видел блестящие глаза, неотрывно глядящие на актёров, видел у некоторых дам прижатые к груди, собранные в узел руки, видел подлинное внимание. Людям нравилось! Кто-то пребывал в полном восторге. Я ощутил страшное одиночество и даже страх. Мне стало немного легче, когда крупный мужчина, сидевший впереди меня, громко всхрипнул и тут же получил сильный толчок локтём от своей жены, которая ещё и прошипела ему на ухо что-то негодующее.

По окончании спектакля публика разразилась аплодисментами, которые перешли в стоячую овацию. Актёры кланялись по одному и вместе, уходили и снова возвращались. Особенно громко и мощно хлопали народной артистке и бывшему Коту в сапогах, а они, в свою очередь, уже кланяясь, продолжали исполнять роль, только это была роль счастливого, но измождённого человека, который отдал все силы без остатка спектаклю и зрителю, но всё же ещё может улыбаться и кланяться. Эта роль им удавалась много лучше, чем то, что они играли в спектакле, но тоже с явным перебором.

Люди выходили со спектакля благодарные. Самые нарядные женщины утирали слёзы. На выходе из зала в фойе стояла театральная бабушка, которая перед началом спектакля продавала программки. Она гордо улыбалась, будто сама сыграла все роли, и заглядывала выходящим в глаза, питаясь их восторгом и своей причастностью к произошедшему. Одной особо нарядной даме она сказала: «Ну как вам сегодня наша Людочка, а?!» Дама только повертела головой, пожала плечами и развела ручками в знак полнейшего и безусловного согласия.

В гардеробе в очереди я слышал обрывки обсуждений. Люди смаковали детали. Говорили негромко.

Вытекали зрители из театра притихшие и, только вдохнув свежего воздуха, городского шума, начинали говорить в полный голос.

Я был потрясён и сокрушительно озадачен. Чем? Да исключительно тем, что я никому в театре не поверил. Ни актёрам на сцене, ни тем более зрителям и их восторгу. Я видел, видел отчётливо, что одни сыграли пьесу, другие сыграли восторг. Обе стороны остались довольны друг другом. А я не мог понять, зачем это было всем нужно. Мне стало не по себе от того, что

я один видел происходившее в театре как какой-то таинственный и безумный сговор или как массовое помешательство.

Я не верил и не мог поверить, что то, что происходило на сцене, может нравиться. Это не могло нравиться никому! Если бы я вышел с оперы или с балета в толпе восторженных знатоков, я, наверное, верил бы восторгу других, зная, что сам ничего не смыслию в увиденном и услышанном, как не понимаю и не могу понять лекцию по микробиологии. В том же, что я видел на сцене Кемеровского областного театра нечего было понимать. Всё там было сделано и исполнено плохо, глупо и бессмысленно.

Когда я встречался с тем, что люди слушают плохую музыку, я возмущался, но верил людям. Девочки слушали в основном всякую дрянь, дедушка любил цыганские романсы в исполнении артистов театра «Ромэн», друзья родителей и сами родители могли не без удовольствия слушать шлягеры отечественных эстрадных исполнителей, любимый дядя был в восторге от блатных песен, сам был не прочь взять гитару и что-то ужасное исполнить к восторгу всех родственников. Мне всё это не нравилось категорически, но я верил, что это может нравиться. Верил! В театре я не поверил никому. Не поверил людям, которые аплодировали стоя. Не поверил тем, кто на сцене делал свою работу с видимым удовольствием. Не поверил, потому что такое не должно было нравиться никому.

Я ехал автобусом домой после спектакля в очень тяжёлом и подавленном состоянии.

Когда меня не понимали одноклассники – это было одно. А тут я сам не понимал и не верил сотням взрослых людей.

Мне не удалось справиться с навалившимся на меня в театре непониманием ни на следующий день, ни через неделю. В то время и в том возрасте я ещё не страдал сомнениями в себе, а только изредка мучился ими. Но тут сомнения разыгрались. А вдруг что-то не так со мной? Может, я был не в том настроении? Может, случился не мой день? Не может быть, чтобы много людей так жестоко ошибались или были введены в заблуждение. Не опоили же их чем-то специальным перед спектаклем. Может быть, дело всё же во мне? Я много думал об этом. Театр не давал мне покоя. Когда доводилось мимо театра проходить или проезжать, многие чувства вскипали во мне, чувства самые разные – от тревоги до раздражения и гнева.

Окончательно утомившись этими переживаниями, я решил проверить себя и театр ещё раз. Кстати, на фасаде драмтеатра появилась новая афиша. Ожидалась большая премьера. И я впервые в жизни один, самостоятельно, поехал в центр города в театр и заранее купил билет.

На самый первый премьерный спектакль все билеты были проданы. На второй и третий в кассе мне предложили только дальние и плохие места. Пришлось взять билет на четвёртый премьерный вечер. Место мне досталось боковое, но в шестом ряду партера. Я обрадовался. С этого места можно было лучше разглядеть зрительный зал.

В кассовом зале висели фотографии сцен из грядущей премьеры. На многих был муж папиной знакомой по работе. На фото он был с усами, с кудрявым чубом и в фуражке. В жизни же он усов не носил и был скорее лысоват. Так что я не сразу его узнал.

Над кассами, на всех афишах и на фасаде театра большими буквами значилось следующее: «Михаил Шолохов» и уже просто огромными буквами: «Тихий Дон». Что-то было написано ниже буквами поменьше. Но тогда театральные режиссёры и те, кто делает декорации, меня не интересовали.

Родители здорово удивились, когда узнали, что я собрался в театр по собственной инициативе и совершенно один. Удивились, но отнеслись вполне одобрительно. Всё же театр воспринимался в обществе как дело серьёзное, не вредное, а скорее наоборот. Беспокойство вызвало только то, что спектакль «Тихий Дон» обещал быть весьма продолжительным и мне придётся возвращаться поздно на окраину небезопасного города.

Помню, что волновался, собираясь на спектакль. Одедся нарядно и серьёзно. Сам погладил брюки.

«Тихий Дон» мне не понравился ни больше ни меньше, а точно так же, как «На дне». Бегали, кричали, размахивали руками, топали. Муж отцовской коллеги оказался громче остальных.

В зрительном зале царил то же благодушие и внимание, что и прежде. Мне скоро стало скучно, тоскливо и совсем уж одиноко. Некоторое время я пытался узнавать актёров, которые играли в «На дне». Это было непросто и азартно. У всех актёров в «Тихом Доне» были усы или усы и бороды, костюмы тоже сильно отличались от «На дне». Кота в сапогах в этом спектакле не оказалось. С актрисами было много проще. Особенно с народной артисткой. Однако я довольно быстро всех опознал, и делать мне больше было нечего.

Тогда я впал в какой-то мучительный анабиоз, из которого вышел из-за того, что из моей руки выскользнул гардеробный номерок, который я вертел в руках, а потом про него забыл. Номерок звонко упал на пол и ещё пару раз брякнул. Мне показалось, что все казаки на сцене и все зрители в зале услышали этот звук. Женщина, сидевшая впереди, оглянулась, посмотрела на меня и осуждающе цокнула языком. Кто-то скосился в мою сторону. В этих взглядах отчётливо читалось слово – «чужой». Я поразился тому, что люди моментально почувствовали и поняли, у кого именно упало что-то, кто нарушил священную тишину. Это было удивительно ещё и потому, что я же не шелохнулся, не полез за номерком. Я сидел смирно. Но они сразу определили мою вину. От этого стало жутковато. Я вспомнил какие-то романы и фильмы, в которых нормальный человек оказывался среди вполне нормальных с виду людей, но постепенно выяснялось, что все вокруг либо члены какой-то секты, либо заражены вирусом, либо инопланетяне.

Тогда я ещё внимательнее, чем прежде, стал вглядываться в лица людей, неотрывно смотрящих на сцену. Я прям-таки всверлился в них глазами и не сразу, но на многих лицах увидел ранее не замеченное. Я увидел терпение. Люди терпели происходящее. В основном терпели мужчины или те, кто был помоложе.

Те, на чьих лицах я прочёл терпение, терпели по-разному. Кто-то терпел, искренне стараясь вникнуть и полюбить то, что творилось на сцене, кто-то изображал интерес, чтобы не разочаровать спутницу или спутника, кто-то тихонечко, как и я, ползал глазами по зрительному залу, рассматривал балконы или световое оборудование над сценой. Были и те, чьи неподвижные и неживые глаза указывали на то, что люди ушли в анабиоз, подобный тому, в какой уходил я. Однако на всех лицах терпящих театр людей я не увидел сомнений, тревог, неверия или возмущения. Люди терпели безропотно и стойко.

Я отчётливо понял, что в зале находится довольно много людей, которым плохо, но они не могут решиться на то, чтобы признаться в этом тем, кто их в театр привёл. В этих людях, думалось мне, слишком сильно сидит почтение к самому слову «театр». Они, наверное, считают театр чем-то непостижимым, как я считал непостижимыми балет и оперу. Они пытаются найти ускользающие и глубокие смыслы в творимой на сцене бессмыслице и винят себя, что не находят таковых. Они, скорее всего, решили, что театр, как и вся сложная культура в целом, требует, чтобы нужно было иногда вот так потерпеть и помучиться, а потом с чистой душой пойти на комедию в кино или послушать в ресторане ансамбль под водочку, да ещё и сплясать.

Терпящие театр люди как бы зарабатывали себе... Как бы вымаливали право на бескультурье до следующего похода на спектакль.

Я увидел это и ещё сильнее углубился в непонимание: «Зачем? Зачем? Зачем?»

По окончании первого акта публика долго аплодировала уже закрытому занавесу. Потом все потянулись в фойе или буфет, надев маски театральной торжественности и печали. Я некоторое время посидел на месте в практически пустом зале. Мне захотелось осмотреть его без людей. Ярусы балконов, лепнина, огромная люстра, летнее небо, нарисованное на потолке,

тяжёлый занавес на сцене, плюш сидений. Всё было красиво и чисто, светло и блестяще. Мне понравилось в этом зале без людей. Всё было хорошо сделано. Во всём была видна традиция, солидность, чувствовалось наследие великого Рима и неких дворцов прошлых роскошных эпох. Как же это не вязалось с той бессмысленной суетой и всем тем, плохо сшитым, приклеенным, приколоченным и отвратительно покрашенным, то есть с тем, что творилось и громоздилось на сцене, которую закрыли занавесом.

Я вышел в фойе, потом пошёл в буфет, встал там в очередь. Люди стояли за высокими столиками и в очереди серьёзные. Вдруг я вспомнил, как в детском саду на новогоднем утреннике я увидел у Деда Мороза на ногах ботинки. Шуба его была почти до пола, но не совсем. Ботинки в моём понимании Дед Мороз носить не мог. Чудесные валенки – вот что должно было быть под шубой. От ботинок я перевёл внимательный взгляд на бороду, увидел резинку, уходящую под шапку. Пелена с моих глаз слетела, и я с ужасом узрел грубо намазанные на щёки и нос румяна. Тогда уже незамутнённым взглядом я посмотрел на Снегурочку и узнал воспитательницу младшей группы. Открытие было грандиозное и ужасное. Ошарашенный, я огляделся по сторонам и обнаружил, что никто из детей не видит открывшегося мне, а взрослые хитрят. Я сразу захотел разоблачить страшный обман, но просто заплакал.

Стоя в буфете, глядя на людей, я увидел полное повторение той ситуации, но мне стало весело. Дождавшись своей очереди, я взял стакан очень густого, сладкого кофе с молоком и пирожное. Это было так вкусно, так приятно и радостно, что, когда все потянулись в зал, я продолжал смаковать каждый кусочек и глоток. Некоторое время я оставался в буфете один. И в буфете мне тоже понравилось одному. Колонны, прозрачные занавески на окне, огни города за окном, вкусный сдобный запах, перемешанный с кофейным.

Когда бабушка в униформе грозно приказала мне немедленно идти в зал на место, я уже знал, что не пойду туда. Я решил, что имею полное право и свободу уйти. Я пришёл по своей воле, без учителей, и могу по своей воле уйти. Мне так это понравилось, что, спускаясь в гардероб за одеждой, я, видимо, улыбался.

В гардеробе было безлюдно и тихо. Мне пришлось сначала громко покашлять, а потом позвать работниц. Из-за одежд вышли три пожилые женщины и молча воззрились на меня, недоумевая, что мне нужно. Тогда я достал тот самый злополучный номерок. Они, очевидно, удивились.

– Что, не понравилось? – спросила одна недобро.

– Да нет... Просто, наверное, съел что-то не то, – соврал я.

Я был хоть юн и задирист, но понимал, что правду говорить тут нельзя. Тем более людям, в театре работающим и причастным. Да и вообще не стоит говорить о своём открытии в этих стенах.

– Жалко, сынок, – сказала другая. – Такой спектакль замечательный! А какие декорации будут в третьем акте! Как жаль!..

– Да пусть идёт себе... – сказала третья, которая смотрела на меня недоверчиво и сердито. – До третьего акта дожить надо.

Я получил свою куртку, извлёк из рукавов шарф и шапку, быстро оделся и пошёл к выходу из гардероба, чувствуя на себе взгляды трёх пар глаз.

– Вот такая теперь молодёжь, – услышал я, уже поднимаясь по лестнице. – Лучше бы совсем не приходил, чужого места не занимал...

– Да! Никакого воспитания...

Дальше я уже не слышал. А потом тяжёлая высокая дверь театра громко закрылась за мной. Я вздрогнул, вдохнул холодный осенний воздух, и мне стало грустно. Мой эксперимент не удался. Ничего не прояснилось. Наоборот. А тогда я ещё не умел жить, чего-то не понимая. Тогда ещё не научился я принимать многие жизненные явления как они есть, даже не пытаюсь их постичь. Тогда что-то было либо совсем чуждым и несущественным, вроде оперы и балета,

и поэтому не требующим понимания, либо нужно было разобраться в явлении и обязательно его понять. Театр был непонятен и при этом реален.

Стоя на остановке в ожидании автобуса, я смотрел на здание театра, всё освещённое огнями, с колоннами и скульптурами, с афишами и яркими окнами. Это опять было красиво. Потом подошёл мой автобус, я отвернулся от театра, шагнул в дверь на ступеньку – и...

Мне тогда показалось, что в тот момент я для себя поставил на театре крест. Крест жирный и большой. Я отказался от уважения к тем, кто делает спектакли, к тем, кто в них играет, и ко всем тем, кто этими спектаклями восхищается. Облегчение при этом не пришло. Ехал я домой опустошённый и задумчивый.

Тогда я отчаялся понять театр и всё, что с ним связано.

Как часто мне вспоминаются те самые мои юношеские переживания, когда теперь я выхожу на сцену того или иного провинциального театра! А что творится со мной, когда я готовлюсь к спектаклю в Кемеровском областном театре драмы во время очередных гастролей! Я не раз ожидал спектакля в гримёрной того самого актёра, что когда-то играл Кота в сапогах. Каково, а?

Мне удивительно со сцены, на которую я когда-то взирал, теперь смотреть в зрительный зал. Та же люстра, балконы, плюш... Бабушки в униформе, кажется, те же. То же место с краю в шестом ряду партера. Всё то же!

И я тот же. С теми же вопросами и с тем же непониманием. Только к прежним вопросам добавилось ещё несколько: как выносит меня эта сцена, кто те люди, что заполнили зал, и есть ли среди них юноша, который пришёл на мой спектакль со своими сомнениями и недоверием?

Анализируя юношеское своё неприятие театра, я понял парадоксальную вещь... Тогда в школьные годы я с удовольствием смотрел по телевизору спектакли, снятые в московских и ленинградских театрах, или спектакли, сделанные специально для телевидения. Так называемые телеспектакли. Я слушал и любил радиоспектакли, и у меня с самого раннего детства были пластинки со звуковыми спектаклями-сказками, а потом и с аудиопостановками приключенческой литературы. Но это всё в моих ощущениях не имело никакого отношения к тому театру, который я так отчаянно не понял. Одно лишь слово «театр» их объединяло. И всё.

Боже! Как мне нравились программы по радио под названием «Театр у микрофона»! Я с наслаждением слушал радиоспектакли. Чаще всего это были постановки по зарубежным литературным произведениям. Тягучие детективы, преимущественно английские. Были и многосерийные спектакли, например по Диккенсу. Я ждал очередных серий, боялся пропустить. А любимой пластинкой, точнее двумя пластинками, был «Остров сокровищ».

В тех спектаклях участвовали лучшие актёры. Их голоса, отдельные фразы до сих пор звучат в памяти. Кого-то я узнавал в кино именно по голосам и всякий раз удивлялся, потому что воображение мне рисовало совершенно других людей: лордов, статных красавиц, кряжистых пиратов или демонических злодеев. Облик многих тех, чьи голоса я слышал в радиоспектаклях, так и остался мне неведом.

Удивительные люди, те, что делали радиопостановки, создавали объёмную звуковую атмосферу. В замках гуляли сквозняки, скрипели лестницы и половицы, трещали камины. На кораблях хлопали паруса, гремели цепи, плескалось море и шумел шторм. Из радио звучал шелест платьев, лязг оружия, звон монет... В этих спектаклях слышно было, как светит солнце, как жарко оно припекает, как пахнет еда, как благоухают неведомые сады и как сыро, темно и душно в подземельях. Там всё звучало!

Эти спектакли совсем не ассоциировались у меня с театром, который стоял в центре города и в котором я бывал. Театр на пластинках и в радиоприёмнике был как кино, но без изображения. Изображение возникало само собой в воображении. В областном же театре всё было конкретно. Воображение в нём отключалось. Ему не было там места. Актёры, голоса,

костюмы, декорации, звуки, воздух и свет были конкретными и фальшивыми. Было видно, как всё сделано.

То есть театр у микрофона – радиотеатр и театр на виниловых пластинках – не был для меня театром как таковым.

Телеспектакли в целом я не любил. Они были для меня как какое-то недоделанное кино с картонными стенами и с фотографиями в окнах вместо настоящей жизни. Но некоторые из таких телепостановок мне нравились. Обыкновенно они тоже были про за границу и часто детективными. В этих чёрно-белых телеспектаклях царила сладкая, неспешная, кажущаяся умной и глубокомысленной, скука. Прекрасные актёры с явным удовольствием участвовали в этом. Было видно, что им нравится изображать медлительных английских аристократов, исполнять сдержанные непростые жесты, носить длинные или очень короткие платья, смокинги, шейные платки, тонкие перчатки и трости. Они аппетитно обращались друг к другу: сэр, мисс, миссис, мистер, мэм, босс, шеф, Джон, Гарри или Сьюзен. А какими страшными или смешными у них получались персонажи Диккенса! Другими англичан и представить себе было невозможно.

Французы в наших телеспектаклях той поры были другими. Преимущественно помятые, громкие и с шарфами. Актёры смаковали: мессье, мадемуазель, мадам, гарсон, патрон, Франсуа, Клодин или Люсиль. В этих телевизионных спектаклях интерьеры воплощали чьи-то фантазии о неизвестных нам иностранных домах, дворцах, коттеджах, отелях, конторах и офисах. Герои в этих интерьерах много вальяжно пили таинственные напитки из каких-то неведомых бутылок. Вкусно произносилось: джин, виски, бренди, кальвадос, ром, сухой martini, чинзано... Как выяснилось позже, пилось всё не так, как это в действительности пьётся, и совсем не из такой, как надо, посуды. Интерьеры оказались наивными, а реальные англичане совсем не медленными и не степенными. Но с точки зрения правды и достоверности я тогда те спектакли не оценивал. В них воплотились и мои тогдашние чудесные представления о Старом Свете, а многие иллюзии и фантазии были продиктованы именно теми самыми телеспектаклями.

По телевизору показывали и спектакли, которые происходили на настоящей театральной сцене, их снимали для телевидения в присутствии публики. Зал реагировал, был слышен смех, аплодисменты. Некоторые из них я любил и смотрел неоднократно. Но они почему-то не осознавались мною драматическим театром, хотя это был самый что ни на есть театр. Почему не осознавались? Не понимаю до сих пор. Возможно, по той причине, что в них играли такие гениальные актёры и играли так восхитительно, что все остальные общие с Кемеровским областным драмтеатром признаки просто становились несущественными и незаметными. А ещё я видел те спектакли по телевизору, а значит, они происходили в недостижимом мире.

Всё это я написал, чтобы было ясно, что я ничего не ждал от театра, который был рядом и доступен. Наоборот.

Однако мне довелось побывать в нашем областном театре до моих последних каникул ещё раз. Я нарушил данное себе слово больше туда не ходить никогда. До сих пор вспоминаю тот поход в театр, и волна жгучего стыда накрывает меня.

Тогда во всю стояли холода, и снега накопилось в городе много. Уже началось общее ожидание Нового года, в школе же было скучно и уныло. Наверное, та скука и послужила одной из причин моего решения всё же сходить в театр. Скука и что-то во мне недоброе – какое-то юношеское ехидство и задиристость.

Так вот, в один очень скучный зимний день, точнее, утром скучного школьного дня, на невыносимо скучный урок физики или химии ворвалась наша учительница литературы. Женщина яркая, пышная, громкая и весьма жизнерадостная. Думаю, она считалась красоткой, просто для нас она была совсем взрослой, старше наших родителей, можно сказать пожилой. Она всегда благоухала, кабинет литературы благоухал. Носила она только яркие радостные платья

и такие же причёски. Бусы были всегда. Помню её редчайшей голубизны глаза. Свой предмет, книги и писателей она любила страстно. Нас любила существенно меньше, потому что мы не проявляли преданности к её предмету. Многие относились к литературе как к досадной трате времени. Я и сам часто огорчал нашу учительницу литературы. Теперь об этом жалею. Я регулярно намеренно делал провокационные заявления, вступал с ней в спор и устраивал из урока балаган. Оригинальничал. Она же понимала, что обсуждаемое на уроке произведение я прочёл, и прочёл глубоко, что я валяю дурака, но, как правило, велась на мои провокации. Однако плохих оценок мне не ставила, директору не жаловалась, родителей в школу не вызывала. Чего-то от меня ждала.

Она могла запросто заплакать, читая нам стихи. Любые. Хоть Некрасова, хоть Маяковского, хоть Есенина. Говорила всегда нараспев и всё интонировала, проговаривала каждое слово отчётливо и выразительно. У меня постоянно возникали сомнения, а не перепутала ли она нас с младшими классами? Она обращалась к нам, особенно к мальчикам, как к совсем несмышлёным детям. Думаю, она жила в каком-то своём чудесном мире, не замечая серых пятиэтажек за окном и не касаясь туфлями коричневого дощатого школьного пола. Она происходила из какой-то иной эпохи. Вспоминаю её теперь с благодарной радостью, а тогда меня многое в ней раздражало. Я не хотел сюсюкать по поводу прочитанных книг или воспроизводить штампы из учебника, отказывался читать стихи с той интонацией, на которой она настаивала. Единственное, что я в ней тогда уважал, – это очевидная преданность и любовь к литературе. Весь остальной её яркий нездешний романтизм казался мне смешным.

И вот наша учительница литературы, благоухая и сверкая голубыми глазами, ворвалась в класс на урок каких-то естественных наук. Она была радостнее обычного. Она явно несла какую-то чудесную весть. Сюрприз. Подарок.

– Мои хорошие! – сказала она, нараспев, глубоким грудным голосом. – Нам несказанно повеселилось! Мне любезно предложили... Совершенно безвозмездно... Двадцать билетов на дивный спектакль. На гастроли приезжает Новосибирский театр юного зрителя и будет давать свою премьеру... Сирано де Бержерак.

Понятное дело, что нашлись те, кто этого названия не слышал прежде и громко хохотнул. Таких нашлось полкласса. Да и те, кто знал это название, хохотнули из стадной солидарности. Отыскался один умник, который не удержался и брякнул: «Сирано Дебержесрак?» Опять был смех.

Но наша литераторша привычно пропустила всё мимо ушей и, кажется, ничего не заметила.

– Пойдут первые двадцать желающих из всех десятых классов – улыбаясь, сказала она. – Загляните ко мне на перемене и запишитесь. Вас ждёт упоительнейшее событие.

Ни на какой спектакль я идти не собирался, хотя знал и очень любил чудесную пьесу Ростана. Я живо представил себе некоего артиста из Новосибирска с наклеенным огромным носом, в дурацком костюме, в шляпе с пером и с бутафорской шпагой. Мне этого совсем не хотелось видеть.

Но вдруг я услышал сзади разговор нашего классного заводи́лы и лидера и классной же признанной красотки. Разговор прозвучал шёпотом, но на весь класс: «А давай сходим поприкалываемся!» – «А давай...»

В итоге к концу урока вся компания тех, кто покури́вал, пробовал портвейн и собирался на квартирах, захотела пойти в театр. Жаждающий всех радостей жизни юноша тут же во мне победил. И я первым записался на спектакль.

К походу на Сирано я подготовил всё своё презрение к театру, всё своё ехидство, желчь и острословие. Не будучи циничным, я решил быть в театре таковым. Себе я сам тогда не признавался, но, по совести сказать, хотел произвести впечатление на одноклассников, а особенно на пару одноклассниц. Оделся я в театр неуместно ярко.

Вели себя мы все тогда в театре отвратительно. Бедная наша, незабвенная учительница литературы! Она пришла наряднее всех, в предвкушении романтического спектакля. С ней были какие-то дамы, видимо, её коллеги из других школ. Но мы были безжалостны и жестоки. Мы испортили нашей учительнице праздник.

Начали мы плохо себя вести ещё в гардеробе. Шумели, хохотали. Продолжили в буфете, откуда нас с трудом и после третьего звонка окриками загнали в зал, где свет уже угасал, а зрители притихли в ожидании.

Зал был не полон, но с первого взгляда я заметил, что публика другая, не такая, как на «На дне» нашей областной драмы. В этот раз в театр пришли люди моложе и разноцветнее одетые. Увы, я не успел их хорошо рассмотреть, да и не хотел. Мне заранее всё было ясно, и я не намерен был менять своё твёрдое мнение насчёт театра как явления. Сомнений у меня не было. Я пришёл глумиться.

Кроме другой публики на этом спектакле меня сильно удивило то, что занавес ещё до начала был открыт, а ярко освещённая сцена не была загромождена декорациями. Наоборот, она была практически пуста.

К сожалению, я почти не помню тот спектакль. С самого начала я стал всё язвительно комментировать, часто вызывая смех моих одноклассников и хихиканье одноклассниц. Текст пьесы я знал почти наизусть. Перечёл нарочно накануне, поэтому мог раньше актёров шёпотом говорить реплики, а также, на мой взгляд, остроумно коверкать их. Я очень этим увлёкся.

А спектакль был необычный какой-то. В нём определённо что-то было. Но я не мог тогда это воспринять. Плюс, к огромному предубеждению, я ещё был весь в коллективном хулиганско-негативистском кураже. Даже если бы мне понравилось то, что происходит на сцене, я бы не смог в этом сознаться ни себе, ни тем более одноклассникам. Во мне определённо сработал весь постыдный ужас, и со мной случилась дикость коллективного посещения культурного события, помноженная на юность.

Про спектакль помню только, что актёры в нём не были одеты в нелепые исторические костюмы. Многие играли в джинсах и свитерах. Все молодые. У Сирано не было наклеенного носа, и он один из всех был облачён в белую рубашку с объёмными рукавами. В спектакле звучало много музыки, кажется, хорошей. Персонажи постоянно танцевали, не очень хорошо.

Помню ещё, что Сирано после каждого существенного монолога выходил на середину сцены, молча проводил пальцем по лицу и на лице оставалась цветная полоса, то синяя, то красная, то белая, а потом он вытирал ладонь о рубашку. К концу первого акта он весь был измазан и исполосован. В этом тоже точно что-то было. В какие-то моменты я даже хотел присмотреться, прислушаться и вникнуть в суть спектакля. Но не мог.

На меня выразительно смотрели зрители, сидевшие по сторонам, те, что сидели впереди, оглядывались, шикали. К нам приходили бабушки в униформе. Мы затихали, но, стоило им уйти, мы взрывались смехом.

В конце первого акта на сцене оказалось много персонажей, музыка зазвучала громче прежнего, и начался большой, многофигурный танец. Разгорячённые мои одноклассники, раззадоренные моими комментариями и ехидством, стали хлопать в такт танцу, а один из них, футболист с самого детства, вдруг вскочил, громко, длинно свистнул и стал лихо бить в ладоши, прикрикивая: «Давай, давай, родные! Оп-па! Оп-па! Давай, жги!» Это было уже слишком. Благо тут первый акт закончился.

Выходили мы из зала в окружении театральных бабушек. Учительница литературы стояла в стороне в слезах. Пришёл какой-то крупный мужчина в коричневом костюме, ругал нас, а потом объявил, что не пустит всю нашу компанию не только досматривать спектакль, но и вообще не пустит в театр. Мы хорохорились, однако не возражали.

В какой-то момент наша учительница литературы что-то сказала мужчине в коричневом на ухо. Тот коротко поразмыслил и приказал девочкам пойти в зал на свои места. Лидер и заво-

дила класса тут же возопил о прощении и сразу был прощён. Следом простили ещё пару ребят. В итоге покинуть театр были приговорены футболист и я. Я был изгнан.

Мы пошли в гардероб молча. По пути футболист куда-то исчез. На лестнице мне навстречу шагнул молодой мужчина. Я узнал его. Он во время спектакля сидел впереди и несколько раз оглядывался, чтобы выразительно на меня посмотреть. Я остановился перед ним. Он гневно скривил рот и сказал: «Дешёвый же ты... пижон! Жаль, что заткнуть не мог твой поганый рот...» Тут молодая женщина, рядом, сказала: «Да не трожь ты его...» А он ещё мгновение посверлил меня взглядом и добавил: «Лучше вали отсюда! Не мешай людям».

Тогда я твёрдо решил не только поставить крест на театре, но и вовсе исключить его из своей жизни. Само слово мне стало противно. Оно напоминало мне теперь не столько о фальши, но после «Сирано де Бержерака» ещё и моём собственном позоре, постыдной и пошлой серости, которой я так глупо поддался.

То, что я больше никогда в жизни не пойду ни в какой театр, мною было решено окончательно. При том моём ощущении времени я приговорил себя к непосещению театра на много веков.

Вот с таким отношением к драматическому театру я отправился на свои последние каникулы.

Те зимние каникулы я очень хотел провести в Ленинграде. В этом дивном городе мне посчастливилось прожить с родителями три года. Там я пошёл в первый класс в школу. Папа учился в аспирантуре, поэтому мы в Ленинград и попали. Но его учёба закончилась, и, когда мне исполнилось девять лет, мы вернулись обратно в Сибирь. С тех пор я в Ленинграде не был. У меня о нём оставались только фантастические воспоминания.

Я с сентября, с самого начала учебного года, планировал поездку. Родители согласились оплатить эту мою мечту. Там, на берегах Невы, у них всё ещё были приятели и коллеги, которые готовы были меня приютить и за мной приглядеть. Самолётом лететь выходило дорого, но и поезд меня не пугал. Трое суток в один конец. На сам Ленинград от каникул оставалось от силы четыре дня, однако меня всё устраивало.

Вот только мне нужна была компания. Один я ехать не хотел. Не то чтобы боялся, но робел. Опасался оказаться в неловкой ситуации, глупо провинциально выглядеть. Нужен был кто-то. И такой нашёлся. Один из немногих моих нешкольных приятелей, с которым я хотя бы мог слушать одну и ту же музыку, тоже решил ехать в Ленинград. Мы строили планы. Мечтали, грезили тем, что, возможно, попадём на какой-нибудь концерт «Аквариума» или пойдём в знаменитое, по слухам, кафе и увидим там самого Гребенщикова, и не только. Было ещё много подобных фантазий. Но за пару недель до поездки моему приятелю запретили ехать в Ленинград. Нового компаньона искать было поздно.

Я горевал до слёз. Плакал. Но, к радости родителей, от поездки в Ленинград отказался. Им тревожно было отпускать меня так далеко. Я же чувствовал себя вполне взрослым и самостоятельным. Но самую малость недостаточно опытным, чтобы пуститься в такой путь одному.

Досадно было ещё и потому, что я конечно же хвастался в классе, что поеду на каникулах в Ленинград. Мысль о том, что придётся остаться в городе, разрывала сердце, а сам город раздражал всем своим существом. Что мне было в нём делать целых десять дней? Разнообразный зимний спорт меня не интересовал. Бегать на лыжах за городом или кататься на коньках? Этого я не любил. Вообще к спорту я был равнодушен. А к увлечению им старался выказать высокомерие. Но и обложиться книгами, всласть обчитаться тоже не хотелось. Я настроился на путешествие, на какие-то открытия и новые впечатления. Короче, я ныл.

Спасительная идея поехать на каникулы в Томск пришла не мне. Её предложил отец. Я сначала её отверг. Что Томск в сравнении с Ленинградом? Томск был рядом, всего триста километров. Он всегда там был. Однако я в Томске прежде не бывал.

А с Томском в нашей семье было связано много историй и мифов. Дед и бабушка когда-то учились и закончили Томский государственный университет. Там они познакомились. Про Томск они говорили с упоением. Этот город был для них самым счастливым местом в мире. Там они были студентами, там осталась их юность.

Они говорили о Томске как о городе старинном, красивом, изящном и содержательном. В сравнении с промышленным, новым и угловатым Кемерово, который возник, вырос и окреп у них на глазах, наполнился дымом заводов и химкомбинатов, а также заселился теми, кто на этих комбинатах и заводах работал, Томск был городом студентов, профессоров, библиотек, учёных, лабораторий, белых лабораторных халатов, открытий, творчества, физиков и лириков.

Там, в Томске, дедушка и бабушка вкусили науки и мечтаний, с ней связанных. Это вне Томска их научные мечты и амбиции рухнули. Жизнь заставила трудиться совсем на другой ниве. На ниве учительствования в средней школе. А Томск так и остался местом прекрасных помыслов, больших перспектив и светлых надежд. К тому же многие их однокашники в Томске продолжали жить, мало того, стали со временем учёными, преподавателями, доцентами и профессорами.

Бабушка любила говорить, что деда в университете все ценили, что он был самым талантливым и ярким, что если бы не война, не тяжёлое ранение, не рождение потом моего отца, но, главное, не дедов взрывной, задиристый и неуживчивый характер... Если бы не его правдолюбие, то конечно же... Потому что те, кто деду в подмётки не годились, но не воевали, были усидчивы и послушны, держали язык за зубами... Вот они-то и добились высот в науке и преподавании.

Кстати, бабушка и дед поддерживали крепкие отношения со многими своими однокашниками, переписывались, созванивались, бывали друг у друга в гостях. Я их не раз видел. Тех самых, которые деду в подмётки не годились. Они правда деда любили и нежно относились к бабушке. То есть мне было к кому ехать в Томск. Короче говоря, я в конце концов решил туда поехать, хоть и не вполне охотно и без каких-либо ожиданий и предвкушений.

Билеты в Ленинград, заранее купленные, лежавшие на моём письменном столе для того, чтобы ими можно было любоваться, я сдал. В Томск можно было поехать поездом или автобусом. Вариантов хватало. Поэтому заранее туда билеты я брать не стал. Думал купить их накануне поездки. Ещё оставались какие-то смутные надежды на что-нибудь иное, более интересное.

И вот за несколько дней до намеченного выезда в город студенческой юности моих деда и бабушки я заговорил на перемене с одним моим одноклассником, Пашей, с которым мы то ссорились, то мирились, но в целом относились друг к другу уважительно. Его родители, как и мои, работали в Высшей школе, преподавали, это как-то нас сближало. Заговорили мы о планах на каникулы.

Я сказал, что передумал ехать в Ленинград, потому что там в это время плохая погода и делать там нечего, в этом городе на Неве. Вот и подумал, не поехать ли мне в Томск, потому что Томск – это здорово, весело и интересно. Паша очень удивился, обрадовался и сообщил, что собирается сам поехать с двоюродной своей сестрой в Томск, потому что его родители там когда-то учились и хотят, чтобы сам Паша пошёл по их стопам и поступил в Томский государственный университет. Так что он с сестрой намерен поехать, посмотреть город и университет. Паша также поведал, что в Томске бывал неоднократно, что город действительно замечательный, но он хочет посмотреть на него свежим взглядом и с прицелом на будущее.

У меня никаких планов и прицелов на будущее, связанных с Томском, не было, но я тоже обрадовался. В компании ехать веселее. Вот тогда я подумал о грядущей поездке не без удовольствия.

Ехать решили ночным поездом, который выходил из Кемерово поздно вечером и прибывал рано утром. В Томске я должен был жить у бабушкиной подружки, которая преподавала

в университете и была профессором, как и её муж. Дочь её тоже там преподавала, а внучка училась.

Бабушкой мне было велено взять с собой в качестве гостинцев наших кемеровских сосисок и колбасы, потому что в городе химиков и шахтёров с ними было более-менее хорошо, а в городе студентов и учёных плохо. Почему-то я это запомнил. Кстати, обратно мне было приказано привезти мороженого хорошего налима, потому что как раз с рыбой в Томске было лучше.

На вокзал я потребовал меня не провожать. Зачем какие-то проводы, когда взрослый человек уезжает на какую-то неделю и всего за триста километров?

Приятно было ехать одному в автобусе с чемоданом, паспортом и деньгами в кармане на вокзал. Только жаль, что поезд шёл не в Ленинград.

В купе нас оказалось трое. Вагон вообще был полупустой. Двоюродная сестра Паши, Лена, оказалась очаровательной улыбчивой барышней с ямочками на щеках, удивительно живыми, блестящими глазами. Она училась в другой школе, но тоже в выпускном классе. И, как брат, собиралась дальше учиться в Томске. Я сразу же оказался ею очарован.

Поразительно! Непостижимо! Я ехал в Томск, ни капельки не предполагая, что эта поездка станет для меня важнейшим и судьбоносным событием. Как я мог при своей ненависти к театру предположить тогда, что то, что я сел в поезд до Томска, выведет меня не куда-нибудь, а на театральную сцену.

А девочка с ямочками на щеках, которая ехала из Кемерово в Томск, чтобы посмотреть на будущий свой университет, уверен, даже думать не могла о том, что, поступив в Томске куда хотела, университет свой не закончит, а станет в итоге знаменитой театральной и киноактрисой. И звать её будут потом не Лена, а вовсе Алёна, и фамилия её изменится на Бабенко.

Что-то удивительное тогда висело в воздухе купе ночного поезда Кемерово-Томск.

Города Кемерово и Томск стоят на одной реке – на Томи. В обоих проживает хорошо за полмиллиона горожан. Оба областные центры и находятся друг от друга на крошечном расстоянии – немногим меньше трёхсот километров. А для Сибири это вообще не расстояние. Оба в стороне от Транссибирской магистрали. На этом общие признаки этих городов заканчиваются. В остальном они абсолютно разные.

Взаимопроникновение и влияние Томска и Кемерово друг на друга минимальны. Так было всегда, так и продолжается. Томск и Кемерово – соседи ближайшие и при этом крайне необщительные и недоверчивые. Так уж сложилось.

Редкие кемеровчане редко бывают в Томске. Большинство же ни разу в нём не бывали и не собираются. Томичи вообще не бывают в Кемерово и не видят никаких причин посетить промышленного соседа.

В Кемерово люди знают, что Томск – город с историей, что он в Сибири самый культурный и в нем много вузов во главе со старейшим университетом, но предпочитают учиться в родном городе, а если и ехать куда-то для учёбы, то всё же выбирают как минимум Новосибирск или сразу Москву, а то и Питер. Когда же кому-то становится тесно в Кемерово и душа просит развития, Томск не рассматривается как город для карьерного роста. У кемеровчан сложилось мнение о Томске как о некоем сибирском Санкт-Петербурге, к тому же Томск севернее. Там, как в Питере, есть что посмотреть, всякой культуры побольше, но делать там в общем-то нечего, денег мало, да и люди в силу своей более высокой культуры поспесивее, посложнее, ироничнее и высокомернее.

Томичи относятся к Кемерово свысока. Даже на карте Томск выше. В Томске считают Кемерово городом шахтёров, химиков и бандитов. Томичам обидно, что Кемерово стоит выше по течению Томи и засоряет своими вонючими заводами реку, на которую по факту названия города они имеют больше прав, чем кто-либо. Томичам не нравятся кемеровские нечистоты.

Из Томска Кемерово видится мрачным, жёстким, бескультурным городом без роду без племени, без культуры и традиций, с жутчайшей экологией, дремучими нравами, но с деньгами. Томичи смотрят на кемеровчан, как в великой книге Толкиена эльфы смотрят на гномов, которые роют подземелья, дымят, чадят и уродуют дивную природу ради своих корыстных и крайне приземлённых интересов.

То есть жители двух ближайших городов мало знают друг друга и друг о друге.

С вокзала Томска меня забрали в настоящую профессорскую квартиру. Я такие квартиры смутно помнил только по ленинградскому куску детства. Таких в Кемерово не было, потому что в нём нет старорежимных домов, только совсем немного зданий сталинской эпохи в крошечном центре.

Квартира была большая, с высокими потолками, тяжёлыми двустворчатыми крашеными дверями, и в ней было очень много, слишком много, разных предметов. Много картин и зеркал по стенам, много каких-то шкафов, на которых громоздились коробки, книги, рулоны бумаги, связки журналов и ещё всякая всячина. В той квартире я увидел столов больше, чем нужно для жизни. Столы эти все были завалены книгами, рулонами и связками журналов. Стульев тоже было больше, чем нужно, стульев неодинаковых. Но присесть в том жилище было непросто, стулья были завалены чем попало, а под ними были складированы книги и журналы. Везде стояли горшки с какими-то одичавшими, но весьма бодрыми большими растениями. Сильно пахло котом, который спал на одном из заваленных книгами и журналами диванов. В прихожей на полу стояли десятки пар разной обуви, с вешалки свисал кокон одежды, по углам клубились валики пыли, и было не светло.

Я сразу оробел и решил, как только появится возможность, позвонить однокласснику Паше, которого с вокзала забрали определённо не профессорского уровня люди, и поинтересоваться, нет ли возможности пожить вместе с ним и его сестрой в менее культурной обстановке. Предложенные мне в профессорской квартире тапочки я надел с содроганием.

Мне были рады в этом доме и, к моему немалому удивлению, были рады гостинцам, то есть большому и тяжёлому пакету сосисок и двум палкам твёрдой тёмной колбасы. Седой и круглый профессор, его седая профессор-жена, их доцент-дочь и внучка-студентка меня сразу провели на большую, страшно неряшливую кухню, усадили за стол, налили чаю, дали потёртых конфет и стали наперебой расспрашивать о бабушке с дедушкой, родителях, о моих жизненных планах. Я не успевал ответить, как слышал новый вопрос. А на плиту уже была поставлена подозрительной чистоты кастрюля, и вскоре в ней уже варились сосиски, по две на человека. Остальные были спрятаны в холодильник. Вскоре пришёл кот.

Отдыхать с дороги мне не предложили. Профессора заранее продумали план моего пребывания в Томске. Они не сомневались в том, что мне всё будет интересно.

Дед и бабушка закончили в Томском университете биологический факультет. Специализировались по ихтиологии. Профессора соответственно, как бывшие их однокашники, были биологами. Они не сомневались, что я приехал, движимый желанием и мечтой тоже стать биологом. А я всерьёз ещё не думал к тому моменту, кем я хочу быть и где мне учиться. Но об этом я не решился сказать на кухне в научном логове.

Было раннее утро, поезд пришёл ни свет ни заря, я оказался на семейном завтраке, за которым все, кроме меня, обсуждали то, что я непременно должен посетить. От сосисок я, к общей скрытой радости, отказался и только слушал. Вопросы мне очень скоро перестали задавать.

Они намерены были показать мне историческую часть университета, особенно те пространства, где когда-то учились мои дед и бабушка. Я по составленному ими заранее плану должен был посетить разные лаборатории, зоологический музей университета, хранилище гербариев, крытый ботанический сад университета, разные кафедры и старые аудитории. На это

были выделены три дня, включая день прибытия. То есть сразу после завтрака меня уже ждали научные чертоги. Я приуныл.

Кроме университета мне предстояло побывать в нескольких музеях города, осмотреть городские достопримечательности, связанные с декабристами, сосланными когда-то в Томск и его построившими. Я должен был посмотреть «жемчужину Томска» – то есть деревянные городские дома с уникальной резьбой, которые являются всемирным историческим наследием. Меня ждала городская картинная галерея и органный зал. Мне сказали: «Органист будет играть слабенький, и программа не очень, но орган послушать надо. В Кемерово-то у вас органа-то нет. Откуда органу в Кемерово взяться? Да и зачем?»

Я не стал говорить, что в Кемерово ещё пару лет как открылся органный зал в филармонии с самым большим и новым немецким органом в Сибири, а на его открытии играл знаменитый органист Гарри Гродберг и я на том концерте был. Не стал говорить и о том, что кемеровчане ходят на орган так, что билеты купить невозможно. Не сообщил я и о том, что не очень люблю органную музыку, кроме нескольких хоральных прелюдий Баха.

В конце списка обязательных мероприятий, дел и посещений, для меня задуманных, была лекция в Доме учёных, а в самый последний день – поход в Томский драматический театр на спектакль «На всякого мудреца довольно простоты».

Я сидел, слушал всё это как приговор и вспоминал любимый фильм времён средних классов школы «Пропало лето». Я хотел только одного – придумать что-то, сказать больным, сбежать обратно в Кемерово, но не гробить свои каникулы. Я завидовал Паше, чьи родители когда-то учились в Томске на историческом факультете, то есть не были обременены настоящей наукой, а значит, и те, кто встретил Пашу на вокзале, не станут его с сестрой истязать пользой познания.

Когда же я услышал про посещение театра, во мне вскипел протест, и я таки смог подать голос.

– Простите, – сказал я, – но дело в том, что я приехал не один, а с одноклассником и его сестрой... У нас были... Кое-какие планы. Мы просто ещё...

– Вот и прекрасно! – радостно перебил меня профессор. – Зови мальчика и девочку с собой. Им повезло.

Те каникулы оказались упоительными. Смутные надежды на какие-то юношеские приключения и таинственную романтику были отброшены. Мне очень и с первого взгляда понравился университет, восхитили люди, там работающие, атмосфера. Дедовы рассказы и воспоминания о студенческой его поре приобрели конкретные формы, очертания и даже лица. Я ощутил величие и при этом серьёзную простоту той альма-матер, которой дед был так предан всю жизнь. Я не ожидал, но мне оказалось многое понятно и интересно в лабораториях, аудиториях, ботаническом саду и музее университета. Главное же – я в восторге был от университетских людей. Особенно от студентов. Совершенно не голодный, я не хотел уходить из студенческой столовой. Там была свобода, громкие, совсем не приглушённые голоса и смех. То, что студенты ели с удовольствием, я не стал бы есть ни за что. Но каким там они дышали воздухом, я готов был дышать и дышать (я не имею в виду запах).

Тогда, в те каникулы, я совсем не ценил, да и не мог ценить время. Жизнь впереди виделась огромной, безграничной. То, что через год я тоже буду каким-то студентом, я знал, но всё равно это казалось страшно далёкой и нереальной перспективой.

Я не мог тогда знать, что ближайшее лето всё будет состоять из тревог, сомнений и очень нервных вступительных экзаменов, не мог представить тогда, что зимние каникулы студента-первокурсника – это совсем не беззаботные каникулы старшеклассника. Не знал я тогда и того, что следующего, уже студенческого, лета у меня совсем не будет, потому что меня призовут на военную службу и попаду я на долгие три года на флот, а служить доведётся мне пре-

дельно далеко от дома. Не знал, что после службы я буду уже не всё подряд с радостью впитывающий студент, а довольно колючий и жаждущий действий человек, для которого каникулы, как любые перерывы в работе, будут казаться простым и потерей времени. Я не знал тогда, что времени может не хватать и что придёт такая жизнь, что его не будет хватать постоянно.

Профессорская семья мне была действительно рада. Я для них оказался поводом, чтобы достать из домашних залежей старые фотоальбомы, какие-то вырезки, письма. Они рассказывали и рассказывали, спорили между собой, забывая про меня. Это были дивные вечера. Меня не оставляли вниманием. Кто-то всюду сопровождал. Пожилая профессор чаще остальных.

Всякий выход в картинную галерею или на концерт в органнй зал сопровождался встречами с приятными и словоохотливыми людьми. Мои профессора, казалось, были знакомы со всеми своими сверстниками в городе. Иногда они представляли меня следующим образом: «Риммочка, посмотри, пожалуйста, на юношу... Никого не напоминает?.. Да это же внук Бори и Сонечки...» После этого шли более или менее искренние восторги и вопросы.

Томск меня очаровал. Он был в старом центре чем-то похож на профессорскую квартиру. В нём было много всего ветхого, неприбранного, обшарпанного, но красивого и ценного. Всё имело какое-то содержание и историю. Снег в Томске был белее и намного хуже убран, чем в Кемерово. Его были горы.

А ещё в Томске было очень много афиш! Город буквально пестрел афишами. Это были не большие, яркие плакаты, а в основном маленькие листовки. Но их было без счёта. Выставки, поэтические вечера, открытые лекции, отчётные концерты хоров, выступления бардов, встречи с кем-то при свечах, диспуты, студенческая самодеятельность и прочее и прочее. Я хотел видеть практически всё и побывать практически везде. Кроме томского драмтеатра.

В какой-то момент закрались сомнения: а вдруг, если здесь всё так по-другому, то и театр здесь другой?

А в Томске все действительно было иначе. Люди иначе одевались, лица их были как-то бледнее, голоса тише. Если в Кемерово все улицы были прямые, то тут, в центре, в основном кривые и извилистые. Если в Кемерово были преимущественно столовые, то в Томске скорее кафе и кафетерии. В Кемерово кофе везде варили невкусный и подавали сразу сладкий и с молоком, зато еда часто была простая и добротная. В Томске настоящий кофе выпить было можно, а вот вкусно поесть – нереально. В Кемерово драмтеатр стоит окружённый домами Театральной площади. Он с колоннами, стилизован под что-то в целом классическое. А томский театр стоит особняком, вытянулся вдоль реки Томи, да и само здание его какое-то кубическое, гранёное и скорее похожее на некое правительственное или партийное сооружение, чем на храм искусств.

Движимый сомнениями и мыслями типа «а вдруг» или «чем чёрт не шутит», я специально попросил сопровождающих прогуляться мимо драмтеатра. На его фасаде я увидел слово «премьера», определённо написанное другой рукой, чем в Кемерово, но той же краской и того же размера. Возле входа в здание театра стояли стенды на железных ногах. Все эти стенды были заняты фотографиями сцен из разных спектаклей. Чёрно-белые, скучные, тоскливые фото, нелепые костюмы, гримированные, застывшие в фальшивых гримасах лица, странные, неживые позы. Всё это было снято, как будто на сцене кемеровского театра. Названия в репертуаре томского совпали с репертуаром нашего более чем на треть. «На дне» Горького тоже было. Я сразу захотел сбежать.

– У нас просто замечательный театр, – сказала мне сопровождавшая меня дочь профессоров. – Мы его так любим!

Когда она это говорила, на её лице появилось то самое неподражаемое выражение торжественно-почтительной печали. Её лицо стало таким же, как у зрителей в кемеровском театре. И я понял, что, несмотря ни на что, ни на глобальную разницу между городами, – театр везде одинаков.

Вечером того дня, за ужином в профессорской квартире, после того как я отчитался о своих впечатлениях за день, мне удалось найти верную интонацию и твёрдо заявить, что в театр я идти не хочу и не могу, что намерен последний день своих школьных каникул провести со своим школьным приятелем и его сестрой, поскольку приехали мы вместе, а проводим каникулы порознь.

От предложения пригласить в театр Пашу и Лену я отказался, заявив, что они театр не любят, а я сам предпочитаю кино и книги. Мне удалось совершенно спокойно выслушать утверждение, что мы театр не любим, потому что его не знаем, так как в Кемерово хорошего театра никогда не было, что в Томске прекрасная труппа и передовые режиссёры, что надо начинать знакомиться с большой культурой театра. Я всё выслушал и не поддался.

Вообще, вечером в Томске в гостях у профессоров мне было весело. Помимо занятия собственными упоительными воспоминаниями о юности профессора с удовольствием выслушивали меня, удивлялись моим книжным интересам и познаниям, спорили, много советовали прочесть, но и многого из мною прочитанного сами не знали. Мне льстило их серьёзное и взрослое отношение ко мне. Несколько раз они спорили без моего участия о том, на какой факультет мне поступать, склонен ли я к гуманитарной среде или же, как дед и они сами, рождён для естественных наук. В том, что я должен поступать обязательно в Томский университет, они были уверены. «Юноше нечего делать в этом шахтёрском городе, – говорили они. – Достаточно того, что Боря и Сонечка там сгинули для науки».

В их неряшливом, захламлённом и пыльном жилище царил что-то старорежимное, но живое и настоящее. В той квартире люди жили серьёзно и вдумчиво. Они ценили ум, живость и устремлённость. При всём беспорядке в квартире в их жизненном укладе не было ничего откровенно лишнего и случайного. За несколько дней и вечеров я полюбил профессоров и тот жизненный настрой, который в них был виден и чувствовался безусловно.

Мне так нравилось пребывать в атмосфере профессорского дома, что я начал подумывать о Томском университете всерьёз и даже не исключал для себя научных перспектив, стараясь не вспоминать о своих плохих оценках по алгебре, геометрии и физике, а также весьма холодном отношении к химии и анатомии.

В предпоследний день каникул и пребывания в Томске мы встретились с Пашей без сопровождающих лиц. Он взахлёб, страстно рассказывал об историческом факультете, для него вопрос поступления был уже решён. Его сестра, к моему сожалению, не пришла, но Паша сообщил, что она тоже твёрдо желает поступать именно в Томске. Я в свою очередь что-то вдохновенно рассказывал. Мы пили кофе в каком-то кафе, заполненном молодыми людьми студенческого вида, которые были, по нашим ощущениям, сильно нас старше. Желание быть такими же, стать одними из них заставляло сердце трепетать.

Потом мы, не торопясь, пошли в Дом учёных на какую-то лекцию, которую мои профессора обязали меня посетить. Помню, падал снежок, быстро по-зимнему и по-северному стемнело, зажглись огни. Мы шли по красивому старому центру Томска, оба взбудораженные ощущением грядущей удивительной жизни, оба уверенные, что она именно такой и будет. Бесконечно интересная и разнообразная жизнь.

Здание Дома учёных в Томске маленькое, уютное и старинное, насколько вообще что-то может быть старинным в Томске. Для Мадрида или Ярославля оно, конечно, просто новое, а для Кемерово буквально доисторическое.

Шли мы в этот Дом учёных не торопясь, много говорили по дороге, расстояние не считали и на лекцию в итоге опоздали. Паша этому обрадовался, а я не особо расстроился. На лекцию не очень хотелось. Однако у меня была ответственность перед профессорами, и мне предстояло хоть что-то сообщить за ужином о посещении Дома учёных.

Я сказал, что всё же попытаюсь проникнуть на лекцию, потому что обещал, а Паша вспомнил о каких-то увлекательных планах на текущий вечер. Мы расстались до встречи на

вокзале, а то уже и в вагоне. Он быстро куда-то ушёл, а я остался перед парадным входом в Дом учёных города Томска.

Совершенно не помню, почему я не вошёл в те двери сразу, а решил прогуляться вдоль самого Дома. Врать не стану, не помню. Помню только, что оказался перед доской объявлений и афиш слева от входа. Доска та была на несколько слоёв заклеена бумажками, приглашающими на разные мероприятия, лекции и вечера, которые, судя по количеству объявлений, шли в Доме учёных бесконечной чередой. Доска на стене была похожа на чешуйчатый бок сушёной рыбы. Она топорщилась от бумажек.

В правом верхнем углу доски я увидел свежеприклеенный лист ватмана, который был больше остальных. На нём кто-то плохо нарисовал чёрную шляпу-цилиндр и тем же цветом большими корявыми буквами старательно написал: «“Шляпа волшебника”. 19:00». Ясно помню, что почувствовал что-то. Какое-то странное волнение. В кино такое волнение изображалось таинственной музыкой, или тонким позвякиванием колокольчика, или каким-нибудь вибрирующим интригующим звуком.

Лекция, на которую я шёл, была назначена на 17:30. Я глянул на часы. Они показывали десять минут седьмого. Тогда я шагнул ближе к листу ватмана с чёрной шляпой и прочёл всё, что можно было на нём прочесть. Вот что я прочитал: «Студия пантомимы томского Дома учёных под рук. А. Постникова. Спектакль для взрослых и детей. Туве Янссон. “Шляпа волшебника”. 19.00».

Дивную книгу Туве Янссон про Муми-тролля, фрёкен Снорк, Снусмумрика, страшную Морру и прочих я знал. (Кстати, тогда я думал, что Туве Янссон – это мужчина, а не женщина.) Знал я эту книгу не с детства. В моём детстве её не было. Попала она мне в руки случайно. Кажется, отец привёз её откуда-то из командировки. Привёз не мне, а в подарок кому-то из племянниц. Мне уже не впору было такое привозить. Я тогда вовсе читал Джека Лондона и Стивенсона. Но я проглотил эту книжку с восторгом и даже не хотел, чтобы её кому-то дарили. Хотел оставить себе, но устыдился об этом просить, считая себя слишком взрослым, чтобы признаться в том, что мне понравилась детская сказка. Книжку же и иллюстрации в ней я запомнил и полюбил сразу пожизненно.

А вот что такое пантомима, я знал смутно. Пантомимой для меня были худые люди во всём обтягивающе-чёрном, с белёными грустными лицами. Их я видел несколько раз по телевизору. А может быть, я несколько раз видел одного и того же человека. Просто я не придавал значения увиденному. Эти люди, или человек, занятно двигался, ходил под музыку на месте, но казалось, что он скользит в пространстве. Ещё он очень ловко изображал невидимый зонт, который у него вырывает из рук невидимый ветер. Он мог удивительно плавными, волнообразными движениями рук изобразить летящую птицу. Но самым поразительным было его умение, как бы наткнуться на несуществующую стену или стекло, упереться в него руками и передать движениями то, что эта стена незыблема и гладка. Меня это позабавило, но не более того.

Как можно сделать некой пантомимой целый спектакль по довольно большой сказке, я совершенно не мог представить. Спектакль без слов, но не балет – как это? К тому же спектакль без слов не по какому-нибудь непонятному «Лебединому озеру» или таинственной «Жизели», а по нормальной, весёлой истории, в которой много юмора и полно долгих разговоров, без которых книга «Шляпа волшебника» просто не книга. Я сразу решил, что ничего хорошего некая студия пантомимы сделать не может. Покривляются, поизгибаются, и всё. Но волнение наполнило меня. Волнение, прежде мне неведомое. Оно скорее было похоже на тревогу, предчувствие чего-то значительного.

Я зашёл в Дом учёных очень робко. В коридорчике при входе, на лестницах и в помещении за ними никого не было. Но там царили звуки. Они доносились из недр дома, из-за дверей. Где-то кто-то наигрывал что-то на пианино. Слышались голоса, смех. Вправо уходил коридор,

но там было темно. В помещении, в котором я оказался, тускло светила одна лампа, стоявшая на столе. Стол стоял в углу. Все двери в помещении были закрыты.

Вдруг одна дверь распахнулась, из неё вылился яркий свет и вышла маленького роста дама. Она прошла к столу с лампой, по ходу щёлкнула выключателем на стене, и надо мной зажглась люстра. Стало светло. Дама проследовала за стол, стала выдвигать его ящики и выкладывать какие-то бумажки, брошюры, тетради. Всё это она быстро разложила на столе в каком-то ей понятном порядке, села и только тогда посмотрела на меня.

– Вы к кому, молодой человек? – спросила она.

– Я... жду, – только и ответил я.

– Как угодно, – сказала дама, раскрыла книжку и стала читать.

На стене часы показывали пятнадцать минут седьмого. Звуки из открытой дамой двери полетели более ясные и громкие. Пианино забренчало лихую мелодию, мужской голос запел что-то без слов. Запел гортанно, некрасиво, но забавно. Вместе с голосом слышались хлопки в ладоши. Хлопали несколько человек. Отбивали ритм.

Я стоял совершенно неподвижно и бесшумно. Дама за столом периодически перелистывала страницы. Чего я хотел и ждал тогда – не знаю. Не помню, чтобы хотел на спектакль. Скорее нет. Не думаю, чтобы меня как-то заинтересовали и заинтриговали доносящиеся откуда-то звуки фортепиано и голосов. Я просто стоял и не мог уйти. Я не мог с места сдвинуться, шелохнуться. Непонятное волнение полностью владело мной. Так простоял я минут десять. И стоял бы ещё, но из тёмного коридора появилась высоченная, очень стройная, даже скорее тонкая фигура.

– Ну что, нет пока никого? – сказала фигура, выходя на свет.

Из коридора вышел высокий и весь прямой вытянутый парень, определённо старше меня, но молодой. Одет он был в тёмно-зелёное обтягивающее трико, точнее сказать, комбинезон. То есть трико на всё тело, без отдельного верха и низа. Обут он был в тяжёлые, высокие, давно немые ботинки, в одной руке нёс пальто, а пальцами другой руки сжимал сигарету.

– Рано ещё, скоро пойдут, – оторвавшись от книги, сказала дама.

– Точно придут? – спросил парень с усмешкой.

– Обязательно! Билетов-то уже нету, – прозвучало из-за стола.

– Странно. Любят люди сказки. На «Шляпу» ходят по несколько раз, – сказал парень и посмотрел на меня. – Ладно, пойду покурю, пока никого.

Он накинул на худые плечи пальто, ссутулился и пошёл на улицу.

Я точно зашёл в Дом учёных не с целью попасть на спектакль некой студии пантомимы. Само слово «спектакль» меня раздражало. В конце концов, если бы я хотел спектакль, то спокойно на следующий день пошёл бы в театр и имел «На всякого мудреца довольно простоты». А я не хотел никаких спектаклей. На спектаклях был поставлен жирный крест.

Но когда я услышал – «Билетов-то уже нету», у меня сразу отчётливо засосало под ложечкой. Волнение же усилилось многократно. Не могу сказать, что я сразу захотел попасть на спектакль, но, услышав, что это невозможно, ощутил какую-то жажду неутолимую.

Парень вернулся вскоре, скинул пальто с плеч, повесил на руку, а другой стряхнул с головы, с короткой стрижки, тающий снег.

– Ну что, пойду гримироваться, – сказал он, проходя мимо.

– Давай, давай, – сказала дама, не отрываясь от книги.

Он уже почти вошёл в тёмный коридор, как вдруг оглянулся и посмотрел на меня. Помню это ясно. Он что-то захотел сказать. Мне. Но не сказал. Вместо этого улыбнулся и ушёл.

Вскоре стали приходить люди. Они входили шумно, как входят в хорошо знакомые и привычные дома. Топали, стряхивали с обуви снег. Громко говорили. Люди все были с морозца румяные и весёлые. Разных возрастов и, очевидно, разных занятий, вкусов и интересов. Но без исключения симпатичные. В основном взрослые. Кто-то пришёл с детьми. Самыми шум-

ными оказались две старушки. Смешливые и радостные, как две одноклассницы. Они о чём-то поговорили с дамой за столом и вместе посмеялись.

Многие подходили к столу, рассматривали лежащие на нём бумажки, брали какие-то себе, спрашивали даму о чём-то и шли в дверь, из которой до того доносились звуки фортепиано. К даме они обращались как к давней знакомой и все здоровались друг с другом. Я отошёл к дальней стене и безмолвно наблюдал за происходящим. Ни у кого на лице не было хорошо мне известного выражения возвышенной торжественной печали. Никто не говорил вполголоса.

Когда на часах стрелки показали без семи семь, пришедших стало совсем много для небольшого фойе. Все галдели. А потом левая, прежде закрытая, дверь открылась – и из неё повалили люди на выход из Дома учёных. Видимо, лекция закончилась. Случилась пятиминутная весёлая давка. Меня плотно прижали к стене, и я быстро весь вспотел под курткой и шапкой. Без двух минут семь в фойе почти никого не осталось. Я отошёл от стены и продолжал безмолвствовать. Надо было уже идти. Но я не мог. Я не стремился пройти туда, куда все проходили на спектакль, я не переживал, что нет такой возможности, не собирался кого-нибудь просить всё же пропустить меня. Я просто стоял. Никогда не пойму зачем и почему. Без одной минуты семь никого в фойе не осталось. Только дама за столом и я. Она посмотрела на меня и стала убирать свои бумажки в стол.

– Больше ждать некого, – сказала она. – Все с лекторией ушли. Сейчас уже начнётся спектакль. Вам тут одному нельзя.

Я кивнул и сделал невыносимо тяжёлый шаг в сторону выхода. Что-то внутри обрывалось и рушилось. Но делать было нечего. Второй шаг дался ещё труднее первого.

Тут я услышал лёгкие шаги сзади. Совсем почти неслышные, но я их уловил и оглянулся. Из тёмного коридора вышел тот самый высокий парень в зелёном трико. Только в этот раз на его ногах были белые тапочки, вроде спортивных гимнастических, а на лице его был белый грим с чёрным ртом.

– Ну что, можем начинать? – спросил он.

– Да. Все пришли, – сказала дама.

– Все, да не все, – грустно скривив чёрный рот, сказал парень. – Моя красотка опять не пришла.

– Ой, и верно, билетик так и лежит, – спохватилась дама. – Не видела её.

Всё время этого разговора я делал третий и четвёртый неподъёмные шаги.

– Слышь, паренёк, – услышал я и не сомневался, что высокий стройный человек в зелёном трико обратился ко мне. – Ты куда?

– Я... пошёл, – ответил я, остановившись и сделав неопределённый жест в сторону входной двери Дома учёных.

– А не хочешь посмотреть наш спектакль? Есть место свободное. Освободилось.

Я пожал плечами. Не смог сказать «хочу». Это было бы ложью. А сказать «я должен его посмотреть» язык не повернулся. Да я ещё и не сформулировал для себя то, что со мной происходило.

– Ты откуда такой серьёзный? – с усмешкой спросил парень. – Из Меда или из ТИАСУРа?

– Я из Кемерова, – просто ответил я.

– Ну... – парень коротко рассмеялся, – у нас спектакль не серьёзный... Игривый... Не для таких строгих людей. Но, если хочешь, проходи. Только решай быстро.

Я очень быстро подошёл к нему. Моментально. Сердце билось бешено.

– Дайте ему мой билетик, – сказал парень даме. – А ты давай быстро, быстро в зал, – это он сказал уже мне. – Всё, я побежал.

И он почти бесшумно исчез в темноте коридора.

– Вот, держи билет, – услышал я и полез рукой в карман. – Не надо денег. Тебе билет подарили. Бегом туда. Куртку на вешалку, – почти прокричала дама мне, вбегающему в Те самые двери.

На бегу я сдирал с себя куртку. Что тогда со мной происходило? Не могу описать. Радости не было точно. Волнение вдруг пропало. Я ни о чём не думал. Я просто делал то, что должен был делать. И я удивительным образом ощущал это долженствование.

За дверьми оказалось небольшое помещенье с окном и вешалками по стенам. На всех этих вешалках висело полно одежды. Я молниеносно повесил свою куртку поверх чьих-то пальто и шуб. Потом три шага – и я оказался в пространстве, в каком не бывал.

Нет, нет, я не шагнул в дивные чертоги, в которых отовсюду зазвучала бы музыка и засверкало бы ослепительное сияние красоты. Я не очутился в таинственном гроте гномов и не опустился на дно морское...

Из помещения с вешалками я зашёл в другое. Оно было вытянутое. Возможно, когда-то, в аристократическом доме, который впоследствии стал Домом учёных, это была гостиная или столовая. Кто знает, как жили сибирские аристократы? Стена справа была полностью завешена плотной тканью. Там, за тканью, наверняка находились окна. Другая стена была просто светлой, со светильниками. Вдоль стены с дверью, в которую я вошёл, на стульях сидели люди. Всего было два ряда стульев. А ещё на полу, в ногах у сидевших на стульях, были разложены подушки, какие обычно составляют спинки диванов. На них разместились те, кто помоложе. Остальные, в основном дети, сидели на маленьких подушечках или просто на полу. Получалось четыре ряда зрителей. Всего человек сорок пять – пятьдесят, не более.

В дальнем конце помещения я увидел расставленные ширмы, стремянки, какие-то обтянутые тканью большие кубы. К потолку крепились несколько металлических труб, на которых висел десяток небольших прожекторов.

Больше я не успел ничего разглядеть. Кто-то положил мне руку на плечо и шёпотом сказал: «Давай проходи, садись на пол». Я послушно прошёл к тем, кто сидел на полу. Несколько человек сдвинулись в сторону и освободили мне немного пола. Кто-то снова потрепал меня по плечу и сказал: «Держи». Я не оглянулся, не увидел говорящего, но у меня в руке оказалась маленькая, упругая квадратная подушечка. «Давай, давай», – только и услышал я, быстро сел, предварительно подложив подушку, захотел оглянуться, чтобы увидеть человека, чей голос обратился ко мне так дружески, но тут свет настенных светильников погас, стало темно, и заиграло то самое пианино, следом зазвучал забавный гортанный голос, и невидимые ладоши стали отбивать ритм. Через какие-то мгновения вспыхнул прожектор.

Круг света упал на ширму. Музыка заиграла громче, а из-за ширмы высунулся человек, с торчащими вверх и стороны волосами, белым лицом, обведёнными глазами и большим красным ртом. Зрители зааплодировали, и я тоже стал хлопать.

Именно в этот момент со мной что-то произошло. С чем произошедшее можно сравнить? Разве что с тем, как, когда долго идёшь с тяжёлым рюкзаком за плечами, устал, а потом сбрасываешь его и вдруг чувствуешь в себе лёгкость, множество сил и способность подпрыгнуть высоко-высоко.

Примерно то же случилось со мной тогда. Я вдруг ощутил, что тяжесть ожидания непонятно чего, тревога предвкушения неведомого, груз сомнений и предубеждений – всё исчезло, можно дышать свободно и легко. Я выдохнул всё вышеперечисленное и просто задышал. Мне стало хорошо. Весело. Совсем легко. Без мыслей.

А выглянувший из-за ширмы человек, дождался окончания аплодисментов, строго глядя на зрителей. Мне же казалось, что он смотрел именно на меня. А потом он улыбнулся во весь свой большой рот. Я улыбнулся в ответ. Музыка оборвалась, и человек вышел из-за ширмы на яркий свет.

Он оказался маленького роста и шуплым. На нём были несоразмерно большие мешковатые штаны с лямками и майка с коротким рукавом. На голой его шее забавно болтался галстук-бабочка в горошек. Обувь его напоминала огромные, сшитые из чего-то мягкого домашние тапочки. Он был больше всего похож на клоунов, которых я видел в цирке.

А цирковых клоунов я до поры до времени любил. Можно сказать, я цирк любил преимущественно из-за клоунов. Всякие акробаты, наездники, эквилибристы, жонглёры, женщины с обручами, канатоходцы и особенно дрессировщики были скучны. Они делали на арене трудную и опасную работу, напрягались, подвергали своё здоровье опасности. Ими можно было восхищаться. Но радости от них было мало. Фокусники удивляли. Они творили почти волшебство и были таинственны. А вот клоуны просто веселили. Они выходили на арену, ещё ничего не успевали сделать, а зрители уже смеялись в голос. Обычно клоуны хулиганили или совершали глупости. У них всё валилось из рук, и они часто падали. Хотя сами по себе были, очевидно, взрослыми и здоровыми мужчинами.

У моей бабушки были какие-то знакомые, связанные с цирком. И мне удавалось по несколько раз сходить на каждую новую программу. А во всякой программе были свои собственные клоуны. Клоунов, как правило, было двое. Редко – один. Я запоминал их номера, репризы наизусть, но каждый раз смеялся и веселился. Клоуны в цирке имели обыкновение выходить с арены к зрителям, шалить и вытаскивать кого-нибудь для всеобщего обозрения поучаствовать в выступлении. Я ужасно хотел, мечтал, чтобы выбрали меня, старался попасть клоунам на глаза, тянул руку, всячески показывая свою готовность к участию. Но увы. Ни разу чуда не случилось, на арену меня не позвали.

Как-то раз один из клоунов ходил по рядам совсем рядом. Я встал, я кричал, я даже прыгал. Клоун не мог не видеть меня. Но он выбрал другого мальчика. Пухлого, неловкого, не нарядного. Мне, конечно, было горько, но я не обиделся. Как можно обижаться на циркача, на клоуна, на человека из иного мира?

Через пару дней я снова оказался в цирке на той же программе и с трепетом, надеждой стал ждать того самого номера, в котором клоуны выбирают в зале помощника. Я маялся во время выступлений всех остальных артистов и животных. И вот клоуны пошли с арены к зрителям с криками: «А кто это тут у нас?! Куда спрятался?!» Один клоун двинулся в мою сторону и стал подниматься по ступеням вверх вдоль рядов. Я ринулся к проходу, выскочил на лестницу прямо ему навстречу. Несколько мгновений, и мы оказались совсем близко друг от друга. Почти вплотную. Клоун кричал: «Где-то он тут! Я его чую!» Зал хохотал. А я был перед клоуном, меня не надо было чують, и я не прятался. Но клоун довольно грубо отодвинул меня, почти оттолкнул со своего пути, и одними губами сквозь зубы хрипло прошептал: «Не лезь!»

Меня поразило не то, что смешной, весёлый, всеми любимый клоун грубо со мной обошёлся, а то, что от него исходил запах, такой же, как от соседа по подъезду, дяди Серёжи, который часто гонял нас грубыми окриками, когда мы, детвора, шумели в подъезде или пытались забраться на его гараж. От клоуна пахло куревом, луком и выпивкой. Я был страшно удивлён этим, но ещё не разочарован.

Разочарование пришло буквально через несколько мгновений, когда клоун радостно заорал прокуренным голосом: «А-а-а! Вот где он спрятался!» – и поднял с места того самого толстого, неуклюжего мальчика, что и в прошлый раз. Вот тут и пришло разочарование. Даже сосед дядя Серёжа не врал. Он просто на нас орал – и всё. А тут была ложь!

После того случая я стал опасаться клоунов, перестал им, как прежде, радоваться, веселье моё по их поводу улетучилось, а следом и любовь к цирку сошла на нет.

Человек, вышедший из-за ширмы, напоминал циркового клоуна, но был совсем другим. Он двигался застенчиво, деликатно, бесшумно, плавно. В нём было что-то детское, незащищённое.

Он, в сущности, находился совсем недалеко от меня, он не возвышался над залом, поднятый сценой, как в театре, не был окружён бортиком арены, как в цирке. Он не изображал персонажа большой классики и не был размалёванным, громко кричащим клоуном, вышедшим на цирковые опилки из неведомых чертогов, из которых на арену выходят дикий животные и не менее дикие люди.

Этот человек стоял двумя ногами на полу, на котором сидел я. На одном со мной уровне. Он вышел из-за ширмы, за которой ничего дикий спрягать было невозможно. Мы находились с ним в сравнительно небольшом помещении. И в то же время он был недостижим. В нём было какое-то волшебство. И совершенно не было переодетой в Снегурочку воспитательницы, а также мужа папиной коллеги, который наклеил усы и якобы стал героем «Тихого Дона». На том человеке просто была забавная одежда и немного яркой краски на лице. Но он был жителем другого измерения.

Тогда я ещё не знал слова «образ». Но то, что передо мной именно «образ», а не «изображение», я сразу почувствовал.

Как много раз из разных возрастов, из разных жизненных ситуаций я возвращался в воспоминаниях к тому зимнему вечеру в Томске! Возвращался и возвращаюсь. Эти воспоминания яркие и отчётливы. Они объёмны и живы. Я помню всю череду мелких обстоятельств и случайностей, которые привели меня в маленькое помещение в маленьком здании Дома учёных на спектакль, на который я идти не собирался и даже ничего о нём не знал. Ещё я удивительно ясно помню все свои переживания, оттенки чувств и сомнения, тому спектаклю предшествующие.

Но я совершенно не помню самого спектакля! Не могу вспомнить, долго он шёл или коротко. Со мной случился какой-то провал. Я будто спал, видел сон, а пробудившись, мог только вспомнить, что со мной происходило нечто непостижимое, взбудоражившее сознание, взбредившее душу, что-то чудесное, небывалое...

Какие-то обрывки и картинки этого сна удалось вспомнить, но из этих лоскутков не складывалось то большое и целое, что так потрясло и ошеломило.

Точно помню, что за весь спектакль я ни разу не задал себе вопроса: а что это тут происходит, что всё это значит, зачем всё это? Какой в этом смысл? То есть тех самых вопросов, которые мучили меня в драматическом театре.

Мне ни секунды не было непонятно, кто передо мной в том спектакле. Кто тут Мумитроль, кто фрёкен Снорк, где Снусмумрик, а когда появится Морра. Про известную и любимую книгу я не вспоминал и не пытался сравнить её с тем, что видел. Невесть откуда пришло счастливое понимание, что я присутствую на ином и воспринимаю совершенно другое, отдельное, произведение искусства. Сравнение одного с другим в этом случае неуместно, вредно и может помешать, убить всякую возможность увидеть новое, другое. С этим неожиданно пришедшим пониманием я живу до сих пор.

Помню ещё одно открытие, сделанное на том спектакле. Меня оно удивило и страшно обрадовало. Я вдруг понял, что люди, которые сделали спектакль в Доме учёных, полностью мне доверяют! Это было так просто и в то же время удивительно!

Мне доверяют!!! Верят, что то, что интересно им – тем, кто на сцене, интересно и мне. То, что понимают они, могу понять и понимаю я. Никто в том спектакле не пытался меня в чём-то убедить, на что-то особо обратить моё внимание, никто не боялся, что я что-то упущу, не пойму. Те, кого я видел перед собой в тот вечер в Томске, верили в моё внимание, чувствительность и ум мой. А ещё я почувствовал, что я им нужен, я им интересен, без меня они жить не могут.

Я видел тогда на сцене счастливых людей, которые играли. Играли во что-то, играли кого-то, играли с чем-то. Но именно играли. Играли радостно, самозабвенно. И были счастливы.

Те же, кого я видел на сцене прежде, ни капельки не доверяли мне и никому вообще. Они громко кричали, бегали, размахивали руками, пускали крокодиловы слёзы из страха, что я ничего не увижу, не оценю их мастерство, не пойму какого-то высшего замысла. Они не доверяли моему вниманию, уму и сердцу. И они были несчастны.

В маленьком зале Дома учёных я отчётливо увидел, что если бы не было меня и ещё пятидесяти внимательных, весёлых и чувствительных людей, сидевших на стульях, подушках и на полу, то никто бы не выглянул из-за ширмы, не улыбнулся бы так искренне и прекрасно, не вышел бы ко мне, не играл бы.

А в театре со сценой и занавесом, с бабушками и буфетом всё было бы выполнено от начала и до конца, будь в зале беснующиеся школьники или восторженные поклонники, да хоть вообще никого.

Мне стало это понятно. Вот только я не знал тогда, что присутствую при творимом передо мной настоящем живом и свободном творчестве. А оно всегда видно и всегда ценно. Просто я видел его впервые в жизни и не знал, что это оно и есть.

Весь спектакль я смеялся и радовался. Это я запомнил. Вот только не помню, чему именно. Полагаю, что те открытия, которые со мной случились, заняли всего меня. Поэтому я запомнил их, а не сам спектакль.

Когда свет настенных ламп зажёгся, все захлопали. Люди, игравшие спектакль, подошли совсем-совсем близко. Улыбались и кланялись. Грим у них на лицах потёк от пота, но глаза светились. Я видел людей, которые не устали, которые любят то, что только что закончилось, и готовы это делать бесконечно.

Зрители все разом поднялись с мест, чтобы продолжить хлопать стоя. Дети, старушки – все. Кто-то громко свистнул. Я поднялся на ноги со всеми, но чуть не упал. Ноги были ватные. Я их отсидел. Я забыл про них. Забыл про кровообращение и сидел не шелохнувшись весь спектакль.

Дольше и сильнее остальных аплодировали щуплому человеку, который первый вышел из-за ширмы, хотя на поклоны выходило больше десяти исполнителей. Из-за ширм кроме тех, кто играл в спектакле ещё, вышли люди без грима на лицах. Они весь спектакль были нам невидимы. Я решил, что это, вернее всего, музыканты, а также те, кто включал и выключал свет. Щуплый всех их благодарил и просил публику аплодировать им, а не ему. Из этого стало понятно, что он там самый главный. Что он А. Постников и есть.

В конце концов мы, зрители, перестали хлопать и потянулись в дверь к вешалкам. Участники спектакля не ушли за ширмы, они стали собирать те вещи и предметы, что во время спектакля как-то использовались и были теперь разбросаны по сцене. Тот самый высокий парень в зелёном трико принялся убирать подушки, оставшиеся на полу от зрителей. Больше всего на свете я не хотел уходить, но медленно-медленно вместе со всеми зрителями вышел в открытую дверь.

Онемевший и заторможенный, нашёл свою куртку, оделся и поплёлся к выходу на улицу, не думая совсем о том, как буду добираться до профессорского дома. Мне, конечно, давали инструкцию, как это сделать, где и на какой трамвай сесть и до которой остановки ехать, но я тогда ничего не соображал, не понимал и не думал о том, где я и куда мне нужно. В сомнамбулическом состоянии я вышел из Дома учёных и куда-то пошёл.

В реальность меня вернуло то, что кто-то позвал меня по имени. Я услышал, что меня зовут, как в глубоком сне слышишь что-то из настоящего мира. Сначала совсем приглушённо и очень далеко, потом всё ближе и громче, пока тебя это не будит.

Меня позвали несколько раз, наконец я очнулся, остановился, оглянулся и увидел своих дорогих профессоров. Это они окликали меня.

Как выяснилось, они обеспокоились, когда я в условленное время после лекции не вернулся к ужину, подождали, подождали и решили прогуляться к Дому учёных, чтобы поинтересоваться и по возможности меня встретить.

Дорогой домой я был молчалив, только честно сознался, что на лекцию опоздал и пошёл на спектакль. Ужин мне накрыли одному, но профессора сели за стол со мной. Ел я вяло. Они даже спросили, не обидел ли меня кто-нибудь. Я ответил, что ничего подобного со мной не произошло. Тогда они встревожились, не заболел ли я. И настояли на градуснике, который показал нормальную температуру.

За чаем мне удалось рассказать-таки кое-что о спектакле. Я сообщил, что мне очень-очень понравилось, а А. Постников на меня произвёл особое впечатление, как, впрочем, и вся его студия пантомимы.

– Ах, как жаль, что ты отказался пойти в театр, – сказала профессор. – Посмотрел бы своего Постникова в нормальном спектакле. Он же актёр нашего драмтеатра и занят в постановке. Хороший актёр, весь, как паучок, подвижный. Он из молодых артистов самый интересный. Может, пойдёшь завтра? А после спектакля – на поезд.

Услышанное меня удивило сильно! Хотя «сильно» – не то слово. Я не смог, а точнее, не захотел представлять себе того человека из спектакля в Доме учёных на сцене нормального театра. Я не захотел верить в то, что один и тот же человек мог делать столь несовместимые вещи. Для себя я моментально решил, что в театре – один Постников, в Доме учёных – другой. Однофамилец, родственник, брат-близнец, двойник, кто угодно, но только не один и тот же человек. В противном случае получалась какая-то история доктора Джекилла и мистера Хайда. Так что я не стал об этом думать, а в театр отказался идти категорически.

Лёг спать я сразу после чая. Долго лежал на диване в гостиной и смотрел на едва видимый в темноте потолок. Во мне ворочались огромные, даже колоссальные невыразимые и небывалые прежде переживания. Я не мог тогда оценить их масштаб и суть. Прежде ничего подобного переживать не доводилось. Одно было ясно – я не знаю, как мне жить дальше.

Конечно, я пытался размышлять тогда, пытался понять, что же со мной произошло, но мысли ускользали, или рвались, или путались.

В первую очередь я удивлялся самому себе... Ну что такого особенного я видел? Какие-то люди делали что-то весёлое в небольшом помещении небольшого дома в небольшом городе. Я же к тому моменту прочитал много книг. Какие-то из них были очень хороши, какие-то прекрасны. Мне также довелось уже прочесть великие книги. Роман «Мастер и Маргарита» Булгакова был прочитан почти тайком, в силу полузапрета на это произведение в то время. Он просто ошеломил и восхитил. Диккенс, Эдгар По, Гоголь... Да мало ли? Я к моменту поездки в Томск на каникулы уже видел фильмы Тарковского, Феллини, Куросавы и пережил сильнейшие потрясения. В конце концов я слушал много рок-музыки. Я буквально начал слушать её ни много ни мало с Пинк Флойда... А тут «Шляпа волшебника». Пантомима и танцы. Что такого в этом было? Я не мог понять. К тому же спектакль как таковой я не запомнил. Я запомнил только небывалого качества счастье, которое испытал, да несколько удивительных открытий, которые удалось сделать за время сидения на полу на маленькой подушечке.

Хотел ли я так же научиться двигаться и играть, как это делали люди, исполнявшие «Шляпу волшебника»? Да, наверное, хотел бы... Но это не главное. Хотел бы познакомиться с исполнителями и стать одним из них, стать членом коллектива под названием «Студия пантомимы томского Дома учёных»? Без сомнения, хотел бы. Очень хотел бы!.. Но и это не было причиной тех душевных тектонических процессов, что со мной происходили.

И вдруг я осознал, чего я хочу... Точнее, не хочу, а что мне необходимо! Жизненно необходимо!!! Нужно! Совсем-совсем нужно!..

Я понял, что хочу так жить! Жить так, как со мной было там, в Доме учёных. Но только хочу жить с другой стороны. Мне надо туда, за ширму, и чтобы из-за неё выходить. Мне нужна такая жизнь! Другая не нужна! Другая – не жизнь!

Я осознал это с восторгом и ужасом, потому что мне стало ясно, что это со мной навсегда.

Как только я это осознал, слёзы полились из глаз. Я заплакал. Ни от горя, ни от радости, а оттого, что уже больше не могу, сил нет переживать, думать и осознавать.

Плакал я долго, в слезах и уснул.

Тогда я не знал, что именно так люди влюбляются на всю жизнь.

День отъезда из Томска помню смутно. Была суббота, это точно. Мы с дочерью профессоров съездили по магазинам. Что-то купил я, что-то было куплено для передачи в качестве гостинцев в Кемерово. Налим был приобретён большой, красивый, замороженный и твёрдый. Его плотно завернули в шелестящую бумагу и обвязали бичевой.

К началу вечера, а потом во время прощального ужина я уже очень хотел скорее в поезд и домой. Чудесна юность! Я тогда не старался ничего особенным образом запомнить, не ценил, не вникал в каждое мгновение общения с прекрасными людьми, у которых в доме прожил важные дни своих последних каникул. Жизнь казалась если не бесконечно, то очень, очень, очень длинной. Необозримой.

Профессора, их дочь, внучка, которую я видел всего ничего, их дом, наше знакомство – всё казалось непроходящим. Я не знал тогда, что больше никогда в этом доме не побываю и не увижу больше этих людей. Профессора жизнь знали лучше. Они старались за ужином и за чаем сказать мне как можно больше чего-то важного, умного, хорошего, по возможности, полезного. Я же слушал вполуха, а забыл практически всё и сразу.

Я твёрдо заявил, что на вокзал поеду один. Мне вызвали такси и уже в свою очередь сказали, что я должен взять у них на него деньги. Прощались тепло, улыбочиво и по-хорошему грустно. Меня просили писать, звонить, приезжать учиться или просто приезжать. Я обещал и верил, что исполню обещанное. Когда я садился в такси, мне все махали на прощание, стоя у окна кухни. Из тёмного двора видны были только силуэты этих людей.

На вокзал я ехал в такси впервые один. Мой чемодан и налива таксист взял у меня и положил в багажник. Это было совсем по-взрослому и серьёзно.

Я прощался с Томском, мелькали огни. Людей на улицах было мало, а снега много. Мимо Дома учёных проехали стороной. Но я его увидел и узнал. Над входом горел фонарь. Возле самого Дома не было ни души, светилось одно окно. Ехал я спокойно.

Сама острота сильнейших переживаний вылилась ночными слезами и была потушена сном. Но осознание, что мне не жить без того, что со мной произошло накануне во время спектакля никуда не пропало, оно просто укрепилось во мне. И непонимание, как дальше жить, если у меня этого больше не будет, тоже во мне укрепилось. Просто мне уже не было страшно. О юность!!! О чудесная её жизненная сила!

А ещё я понял, что мне нет нужды, я не вижу необходимости непременно вернуться именно в то самое помещение, именно в томский Дом учёных, познакомиться с А. Постниковым и оказаться за его ширмой, чтобы выйти из-за неё в его спектакле. Мне нужно было моё! Всё только моё. Ещё не существующее.

Я хотел скорее домой! В свою комнату, к моим книгам, музыке. Хотел не для того, чтобы там, в привычной обстановке, на своей территории, успокоиться, втянуться в прежнюю жизнь и чтобы всё пошло, как было. Нет! Мне надо было домой, чтобы спокойно начать что-то делать с тем, что со мной произошло.

Тогда я больше всего верил в книги. Наивный! Я всерьёз был уверен, что книги есть про всё, всё, всё без исключений. Они обязательно есть, если не в детско-юношеской библиотеке, то в центральной областной уж точно.

«Начну с книг, – думал я. – Нужно для начала найти и прочитать всё, что есть про пантомиму. Необходимо выяснить, где и как пантомиме учат. А дальше?.. Дальше – поглядим».

В этих моих мыслях было уже нечто вроде плана. В плане грезилась надежда. А в надежде – радость. На вокзал я приехал почти весёлым.

Возле вагона Пашу и Лену провожали приятные люди. Они смеялись. Паша открыто, повзрослому курил на перроне. Лена на морозе среди железнодорожных фонарей была не просто очаровательна, а хороша.

– Ты что это тащишь? – спросил Паша, показав на большой бумажный свёрток у меня в руках.

– Налима, – ответил я.

Все захохотали.

– Мы тоже везём налимов, – сквозь смех сказал Паша. – Типичный местный сувенир. Из Томска с любовью.

Я смеялся со всеми.

Потом мы ехали, под стук колёс весело пили чай, говорили. Уснули легко и крепко. Наполненные впечатлениями. Уставшие от каникул. Разбудила нас проводница.

В Кемерово я вернулся совсем не тем, кем уезжал в Томск. Моя жизнь была predetermined.

ГЛАВА 2

ВНАЧАЛЕ СЛОВА НЕ БЫЛО

Когда я вернулся из Томска, мама сразу заметила, что со мной что-то случилось, произошло, стряслось. Дня через три после моего возвращения она спросила, не влюбился ли я.

Как я был возмущён! Самым решительным и детским образом отверг я подобные подозрения. Фыркал, обижался... Сегодня-то я понимаю, насколько мама была права. Однако объект моей влюблённости был настолько неопределённым и таинственным, что если бы я даже согласился с мамиными предположениями, то не смог бы объяснить, что стало предметом моей любви... Если не какая-то конкретная девочка, то кто?.. Что?

Я возмущался мамиными предположениями, но видел по её улыбке, что именно моя бурная реакция убеждает маму в правоте.

Я не буду рассказывать, как трудно мне дались первые две недели по возвращении из Томска. Через день после приезда снова началась школа. Там у меня и без того было не блестяще, а тут я вообще ни на чём не мог хоть как-то сосредоточиться. Всё, как говорится, валилось из рук.

Хуже всего было то, что я ни с кем не мог поделиться своими впечатлениями и переживаниями. Мало того, что они были крайне неоформленными для самого себя, но главное, они были никому не понятны. Я догадывался, что никто меня не поймёт, и поэтому после пары попыток оставил идею хоть с кем-то ими поделиться.

Необходимо напомнить, что интернета и подобных источников информации тогда не существовало даже в самых смелых фантазиях самых фантастических людей. Единственным способом получить искомые нужные знания был поход в библиотеку. И, на худой конец, обращение к знающим людям.

Знающих хоть что-то про пантомиму людей в моём окружении и в самом ближайшем круге общения моих родителей не нашлось. Библиотеки же меня поразили!

В детско-юношеской, куда я много лет ходил в читальный зал по выходным, где все меня знали, ценили и давали самые интересные и редкие книги часто без очереди, в предметном указателе не нашлось даже самого слова «пантомима». А когда я задал вопрос самой главной и величественной даме, которая заведовала читальным залом и могла дать полистать даже иностранные журналы, есть ли в наличии книги о пантомиме... Она удивлённо и запнувшись спросила: «О чём? О пантомиме?» Тогда я понял, что с этим вопросом и темой не всё так просто.

В библиотеке института и университета, где работали мои родители, произошло приблизительно то же самое. Я удивился, но успокаивал себя тем, что это были скорее научные библиотеки. А детско-юношеская – она и есть детско-юношеская.

Я, конечно, был удивлён, но ещё не обескуражен. Оставалась областная библиотека, где находились, по моему мнению, все-все книги. Такая она была большая и серая. А если в библиотеке есть все-все книги, рассуждал я, то найдутся таковые и про пантомиму. В этом я был уверен. Я в том моём возрасте был убеждён, что книги существуют обо всём на свете и всегда можно найти книгу с ответом на любой вопрос.

В областную библиотеку я вошёл с трепетом. Размеры, цвет и форма этого здания говорили о предельной серьёзности самого его предназначения и о безусловной серьёзности причин и намерений тех людей, которые в него заходили. Я прежде никогда в жизни по собственной надобности не входил в столь серьёзные здания. Университет и институт, в которых

работали родители, были полны шумных, весёлых студентов, и к тому же это были здания, в которых работали папа и мама. Я никогда не входил в них с трепетом, привыкший к ним с детства. Их библиотеки не были для меня чем-то значительным. Разве что в них приходилось говорить шёпотом.

Здание больниц и поликлиник скорее вызывали скуку и страх. Ещё были музеи в Москве и в Ленинграде. Это были солидные здания, но туда я самостоятельно не заходил. Музеи являлись делом серьёзным, утомительным и в основном скучным, за исключением картин со сражениями и страданиями людей. Страдания поражали и впечатляли особенно сильно. Хоть на полотне «Девятый вал», хоть на «Гибели Помпеи».

В правительственные здания или партийно-профсоюзные мне к тому моменту моей жизни заходить не доводилось. Так что областная библиотека была самым значительным зданием, в которое я вознамерился войти по своим собственным мотивам и причинам... Не по чьей-то просьбе, указанию или заданию, не по рабочей необходимости, а потому что мне это было нужно лично.

А в библиотеку заходили и выходили из неё очень серьёзные, все слегка или сильно сутулые люди. Молчаливые. Знающие, зачем заходят и почему выходят.

На минуту я задержался у входа, задал себе вопрос, знаю ли я, зачем и что мне нужно в этом здании, решительно сам себе ответил, что точно знаю, и без сомнений потянул на себя тяжёлую, высокую дверь.

Не буду рассказывать подробно, как я записался в областную библиотеку. Скажу лишь, что с первого раза сделать мне это не удалось. Дело в том, что для записи нужен был паспорт, который я тогда не взял. Паспорт у меня уже был, я получил его, как положено, в шестнадцать лет. Но, когда я впервые вошёл в областную библиотеку, я ещё не был человеком, который привык при себе иметь паспорт или другое удостоверение личности. Такие были времена. Времена, когда паспорт требовался не часто. Поездом можно было ездить без паспорта. Покупка билетов на поезд и проезд не требовали предоставления документов. Областная библиотека оказалась серьёзнее поездки поездом.

Со второго раза в итоге и короче говоря я в библиотеку записался. И тут же поставил её сотрудников своей просьбой в тупик. Хранители бескрайних и бездонных книжных недр озадачились вопросом юного человека, что у них есть о пантомиме. Они были удивлены моим вопросом, а я был удивлён их удивлением.

В конце концов после продолжительного ожидания мне вынесли одну-единственную книгу...

Когда я её увидел, моё лицо приобрело выражение такого крайнего разочарования и растерянности, что вынесшая книгу дама, только и могла сказать: «Больше нету ничего... Даже в зале периодики».

В руках она держала тонюсенькую книжицу. Даже не книжицу, а скорее брошюрку. Бледненькую, похожую на школьную тетрадку. Только меньшего формата, чем школьная.

Как страшно мне было осознать в этот момент, что в этом царстве, в чертоге, где бессчётными этажами громоздятся многотомные собрания сочинений, словари, энциклопедии, атласы, научные трактаты, история, философия, могучие фолианты, подшивки газет и журналов... Все что хочешь и даже больше... Вся человеческая деятельность в виде бумаги и текстов... Текстов обо всём на свете... И вот среди всего этого нашлась только одна тонюсенькая книжка о пантомиме!..

Это сообщило мне тогда, что пантомима занимает ничтожнейшее место в бесконечной череде человеческих интересов и занятий. К тому же очевидным было и то, что в Кемеровской областной библиотеке я первый, кто попросил книгу о пантомиме, первый, кто эту книгу получил, и для сотрудников библиотеки явился сюрпризом, что такая книжка у них есть.

Книга была маленькая и тоненькая, но она была. Это всё равно явилось хоть чем-то. Чем-то бóльшим, чем ничего. Я взял её и оформил на максимальный десятидневный срок. «Пантомима: Первые опыты» – так она называлась. Автором значился некий Илья Рутберг. Я положил её в портфель. В школьный, который перед походом в библиотеку освободил от тетрадей, учебников и прочих предметов, полагая, что он весь будет заполнен полученными книгами. По дороге домой из центра до моей окраины в автобусе книжку ту я из портфеля не достал, хотя очень хотел немедленно её пролистать. Однако этого не сделал. Чтобы открыть единственный найденный мною источник знаний на самую важную в тот момент для меня тему дома. В одиночестве. За столом. Спокойно. С чувством, с толком и расстановкой.

Я не знал тогда, что Илья Рутберг сыграет в моей жизни существенную роль, не только и даже не столько как автор той самой книжки, а лично. Я не знал, что сама книжка, тонюсенькая и невесомая, окажется ещё одним звеном в цепочке случайностей, как тот самый билет на «Шляпу волшебника» в томском Доме учёных. Я не знал того, что найду, а главное, того, чего не найду в книжице, которая лежала в темноте моего потёртого и избитого школьной жизнью портфеля. Той самой школьной жизнью, которая по причине неожиданно случившегося со мной всепоглощающего интереса к некой пантомиме стала мне окончательно безразлична.

Я смутно помню, поэтому не могу, да и не должен рассказывать о последних моих месяцах школы. Цель этой книги другая. Цель эта ставит передо мной задачи вспомнить определённые подробности и детали. Скажу лишь снова, что учёба моя после последних каникул пошла совсем худо. Особенно по точным предметам. С физикой, алгеброй и геометрией творилась у меня настоящая беда. Точнее, я попросту ничего не делал на этих уроках. Учебники не открывал. Тетради мои по физике и геометрии испещрил я рисунками каких-то фантастических существ или чем-то вроде комиксов. Делал это не из вызова, а просто так, чтобы чем-то занять себя на тех уроках.

Учителя били тревогу. Впереди совсем не за горами уже маячили, буквально нависали выпускные экзамены. Родители тоже беспокоились, и весьма. В том, что мне надо поступать в какое-то высшее учебное заведение, никто да и я сам не сомневался. Однако мои успехи по точным дисциплинам были таковы, что если бы учителя и дирекция школы захотели быть принципиальны, справедливы, честны и не боялись испортить свои рабочие показатели, а также если бы они не были в конечном счёте сердобольными и участливыми людьми, то никакого окончания школы и аттестата зрелости мне не светило. По совести, светили мне неудовлетворительные оценки по всем точным предметам и неведомые мрачные перспективы... Остальные дисциплины, типа географии, истории, литературы, обществоведения и английского как-то катились у меня по инерции, сами собой.

Со мной серьёзно пытались беседовать учителя, со мной говорили родители, несколько раз говорили учителя и родители вместе... Мама раздражалась, отец гневался, с ним случались припадки педагогики, он придумывал и применял санкции или, наоборот, прибегал к дипломатии, действовал мягко и ласково. Ничего не помогало. Меня, как ныне любят говорить, никто и никак не мог мотивировать на последний рывок в учёбе.

Мой взгляд на уроках был расфокусирован, а слух заглушён невнятными, но громкими мыслями, что звучали в голове.

Я помню, что пытался сосредоточиться. Старался себя заставить вникнуть в школьный процесс. Страх надвигающихся экзаменов и неизбежность выхода из школы в открытый космос неведомой и неизбежной дальнейшей жизни страшили. Периодически страх доходил до ужаса. Но сосредоточиться я не мог.

Родители допытывались, что со мной. Я конечно же поведал им о том, что меня страшно интересует пантомима, что я о ней всё время думаю, что мне это очень важно. Но ничего более тонкого и точного о своих переживаниях я сообщить не мог. Я пытался пересказать мною

увиденное в Томске, силился найти какие-то слова, но не мог их отыскать. У меня этих самых слов не было даже для самого себя.

Сначала моё невнятное, но всепоглощающее увлечение сердило родителей. Особенно маму. Мама преподавала студентам теплотехнику и термодинамику, а сын её не имел и не желал иметь представление о том, как и с какой стороны открывается учебник физики, и был худшим по этому предмету в классе. Хуже всех. Хуже тех, кто были признанными идиотами и учителями, и одноклассниками.

Отец отнёсся к моему увлечению как к блажи, которая должна вот-вот пройти. Он считал меня неглупым, пытливым, но ленивым. Папа считал, что моя лень быстро одолеет интерес к пантомиме. Он преподавал в университете неведомую мне экономику, страстно любил математику и воспринимал большинство моих увлечений как проявление лени. Только когда я выказывал упорство и постоянство, он начинал это более или менее уважать. Например, будучи человеком напрочь немзыкальным, отец, увидев мою долгую страсть к рок-музыке, сам купил мне магнитофон и очень хорошую акустическую систему. Он где-то раздобыл отличные наушники, каких не было ни у кого. Он даже иногда пытался интересоваться тем, что я слушаю, задавал вопросы. Не из любопытства, а из уважения к моему непроходящему интересу. Он полагал, что мне будет приятно, если отец проявит внимание к увлечению сына. Я понимал отцовскую игру. Но мне действительно было приятно. Я становился счастливейшим человеком, когда отец спрашивал меня о дорогом мне и важном.

Точно так же, разглядев моё увлечение фотографией, а я пребывал в этом увлечении довольно долго, папа в конце концов купил мне хороший фотоаппарат и всё необходимое фотооборудование. Вскоре, правда, получив всё что нужно, я к фотографии охладел и забросил это дело. Он тогда меня жестоко высмеял, объяснил всё моей ленью и долгие годы при любом удобном случае больно напоминал и упрекал меня той самой фотоблажью.

Пантомима же у меня быстро не прошла. И отец увидел, разглядел моё состояние. Признал его. Мы несколько раз говорили. Один раз «по-мужски». Он пытался понять, что же меня так сильно разобрало. Но не понял. Да и не мог. Я же ничего толком сформулировать был не способен. Папа убеждал меня, что увлечение моё несерьёзное, что надо думать о высшем образовании и профессии, о взрослой жизни, в конце концов. Говорил он, что такой профессии, такой работы, такого серьёзного дела, как пантомима, нет и быть не может... Во всяком случае в Кемерово. Говорил, что артистов в нашей фамилии сроду не было... Говорил, что если всё же мне эта пантомима так важна, то на здоровье – сначала поступи в медицинский или в университет, а потом, уже будучи студентом, хоть на голове ходи, хоть марки собирай, хоть пантомимой занимайся в качестве хобби и гимнастики. Говорил папа и о том, что студенческая жизнь так чудесна, что, попав в неё, я забуду свою блажь...

Однако я понял тогда, что папа увидел признаки сильной страсти во мне, увидел и, несмотря на свой гнев по поводу полнейшего краха моей школьной учёбы, всё же мою блажь зауважал... Зауважал не явно. Скрыто. И, скорее всего, зауважал моё упорство, а не предмет моего интереса.

Впоследствии я узнал, что родители даже наводили справки. Они опросили самый широкий круг своих знакомых и коллег, знает ли кто-нибудь хоть что-нибудь о пантомиме. Никто из кемеровских знакомых ничего не мог им сообщить. Тогда они звонили приятелям в Москву и Питер, интересовались книгами, а ещё тем, где и как эту пантомиму можно посмотреть и где ей обучают. Никто ничего толком не знал, и никого, кроме Марселя Марсо и Енгибарова, вспомнить в связи с пантомимой не могли. Какие-то люди что-то видели, что-то слышали, говорили, что пантомима – это интересно, необычно и по большому счёту даже модно и элитарно, но не более того. Ещё родители узнали, что пантомиму чуть-чуть, самую малость, скорее факультативно, преподают в театральных училищах, да и то не во всех. Они выяснили также,

что пантомиме учат в цирковом училище... Мама и папа мне об этом не сказали. Наоборот они объявили, что пантомиме не учат нигде.

Имена Енгибарова и Марсель Марсо мне каким-то образом были известны. Леонида Енгибарова любили все интеллигентные люди, даже в провинции, даже те, кто его никогда не видел. Я его видел в кино. Однажды. В котором он играл грустного клоуна. Енгибаров в этом фильме показывал чудеса гибкости, делал сложнейшие акробатические номера и какие-то пластические этюды. Это было удивительно. Даже поразительно. И сам он был какой-то чудесный, с потаённым смыслом. Он на руках стоял как какая-то таинственная метафора, как неразгаданное стихотворение, как строгий иероглиф, который хочется понять и расшифровать. Он был содержательно печален.

Но Енгибаров не ассоциировался у меня с пантомимой. Он умер давно и рано. Остался для всех загадкой, некой порванной струной, которая толком не успела ничего сыграть. К тому же он по основной своей деятельности был цирковой клоун. Ковёрный. Особенный, необыкновенный, но всё же цирковой артист.

Имя Марсель Марсо я услышал впервые и запомнил в песне Владимира Высоцкого: «... Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил». Вот, собственно, и всё. Просто Марсель Марсо звучало красиво и в высшей степени недостижимо. Да ещё великий Высоцкий говорил про него: «САМ Марсель Марсо...» То есть его имя Высоцкий употреблял в значении символа предельно высших сфер.

Оказалось, об этом я узнал существенно позже, что в середине 60-х и в 70-е годы Марсель Марсо был страшно популярен и любим у нас. Он приезжал в Москву, выступал, давал концерты. На них невозможно было попасть. Видели его на сцене немногие счастливые. Но те, кто видел, были в восторге. Остальные же довольствовались восторгами и рассказами счастливых. Но именно Марсель Марсо привёз с собой моду на пантомиму.

А в то время исключительно рассказами, слухами и отголосками впечатлений о чём-то визуальном только и можно было довольствоваться. Спектакли, фильмы, даже живописные полотна уходили в пересказы. Если бы Енгибаров и Марсель Марсо что-то писали, говорили или пели, то это так или иначе можно было бы раздобыть, почитать или послушать. Но они молчали. Они делали пантомиму. Поэтому про них говорили. Показать ничего не могли. Чтобы показать, нужно было бы учиться пантомиме...

Видеомагнитофонов же и компьютеров ещё не было. Даже кинопроекторы и кинокамеры были редкостью. У нашей семьи не было ни родственников, ни знакомых с кинокамерами. Так что своё не статичное, не фото-, а движущееся изображение на экране я впервые увидел в возрасте шестнадцати лет. Меня снял на киноплёнку приятель, который был на год старше и поступил в институт учиться на кинооператора. Трудно передать моё удивление и потрясение. Тогда мало кто мог увидеть себя заснятым на киноплёнку... Но это к слову. И это я всё рассказал для того, чтобы стало яснее, что моя жажда познания пантомимы долгое время оставалась неутолённой. Утоление придёт потом.

Это потом я узнаю, что пантомима была весьма популярна в интеллектуально-творческих кругах в 60-е годы. Что по всей стране в 70-е жили и работали энтузиасты, которые одному богу известными способами учились пантомиме или себе её изобретали, а потом сами начинали обучать желающих. Что при разных университетах, Домах культуры, даже при заводах, в каких-то подвалах и где только это было возможно возникали ансамбли, студии, кружки пантомимы. В Прибалтике, Ленинграде, Челябинске и где-то в Иркутске сложились и работали театры пантомимы.

Молчаливое, таинственное, иносказательное, слегка заграничное, всегда многозначительное искусство как нельзя лучше подходило для того времени.

Но, когда я ехал из областной библиотеки с книжкой в портфеле, я всего этого ещё не знал...

Я прекрасно помню своё состояние. Оно в основном состояло из волнительного ожидания. Но было много и других разнообразных чувств, с которыми я вёз домой единственную найденную книжку о пантомиме. Отчётливо помню все эти чувства и их оттенки, но не берусь их описывать и анализировать.

Читал литературу дома я обычно лёжа, хоть и привык к чтению в читальном зале за столом. Лёжа читать было приятнее, это было удовольствие. Укладывался обычно на левый бок, ставил руку на локоть и клал голову на кулак. Рука вскоре затекала, давала о себе знать, тогда я разжимал кулак и клал голову на открытую ладонь. Это давало время ещё на пару страниц, после чего уже терпеть было невозможно, и я поворачивался на правый бок. Правая рука у меня затекала и затекает быстрее левой. И я снова возвращался на левый бок. Когда руки уставали окончательно и надоедало крутиться, я либо клал книгу на пол и читал, свесившись с кровати, либо садился спиной к стене, поджимал к себе ноги и клал книгу на колени. Но так мне не очень нравилось. Вот я и ёрзал в процессе чтения.

Учебники и всё, что следовало изучать по школьной программе, я читал только за столом. К этому приучили меня родители. Они утверждали, что лёжа ничего не усваивается, плохо понимается и не запоминается. Думаю, они правы.

Книгу, а точнее книжечку, Ильи Рутберга «Пантомима: Первые опыты» я открыл, усевшись за стол. Предварительно навёл на нём идеальный порядок, задёрнул шторы, включил настольную лампу, выключил верхний свет и только тогда положил перед собой книжку. Посидел, ровно, спокойно подышал и открыл её.

Прочёл и просмотрел я эту книгу до самого конца довольно быстро. Просмотрел и прочитал, потому что текста в ней было не очень много, а рисунков, наоборот, в избытке. Я прочёл книгу всю. От короткого вступления до оглавления. Я просмотрел все рисунки... Я видел в ней все буквы и знаки препинания. Мне в тексте не попалось ни одного непонятного слова. Но я не понял ничего. Совсем! Закончив чтение, я принялся читать сначала. Но родители распорядились погасить свет и спать. Как уснул тогда – не помню.

Следующим вечером я продолжил чтение. Книга Ильи Рутберга оказалась скорее учебным пособием, чем книгой. А к тому моменту я не имел опыта работы с учебными пособиями. И значит, книга была адресована не мне, а людям, которые уже имели представление о том, что такое пантомима, но не знали, как её исполнять и что для исполнения пантомимы нужно сделать.

До знакомства с книгой «Пантомима: Первые опыты» я имел дело только с учебниками и художественной литературой. Литературу я в основном читал сам по собственной инициативе и к собственной радости, а учебники – по требованию учителей и с их комментариями. По своей воле я никакой учебник в руки не брал.

Работа Ильи Рутберга была сродни учебнику. В его книжке описывалось, например, как нужно исполнить волнообразное движение рукой и какие упражнения нужно было делать, чтобы это движение получилось наиболее убедительным. Также описывалась техника шага на месте, который создавал иллюзию настоящего шага... И разные другие премудрости технико-физического исполнения основных пантомимических приёмов.

В книжке представлены были вполне понятные, наглядные рисунки и схемы того, как надо разные движения делать, каким образом надо себя тренировать, растягивать, разминать и как держать осанку.

Книгу я через десять дней сносил в библиотеку, и продлили ещё на десять дней. За это время я её выучил практически наизусть и срисовал все рисунки из неё.

В то время привычной доступной копировальной техники не существовало. Поэтому необходимые тексты из книг обычно переписывались, перепечатывались на пишущей машинке, заучивались наизусть или перефотографировались. Я всё, что мог и хотел, запомнил, рисунки срисовал.

В процессе заучивания той книжки и копирования рисунков я пробовал делать то, что рекомендовал автор. Всё вроде было несложно, но ничего не получалось. Тело не слушалось указаний. Я впервые столкнулся с тем, что не знаю, как отдать точный приказ пальцам, кистям рук, ступням, шее... Мои собственные конечности не слышали меня или слышали и не понимали, а то слышали, понимали, но не слушались. Я был этим сильно удивлён. Но именно в этом нашёл азарт преодоления.

Часами проделывал я разные упражнения перед зеркалом. Спешил после школы домой и, пока родители были на работе, упражнялся упорно и неумолимо. Родители не одобрили бы мои старания в этих упражнениях, а настояли бы на занятиях по школьной программе. Когда кто-то из них, чаще мама, раньше отца приходила домой, я брал учебник и читал его стоя у стены в рекомендованном Ильёй Рутбергом для улучшения осанки и физической дисциплины положении. Это было непросто. Нужно было стоять, касаясь стены затылком, лопатками, серединой спины, крестцом и пятками. Необходимо было так стоять, всё время контролируя названные выше точки на предмет их соприкосновения со стеной. При этом я читал учебник и пытался вникнуть в суть и смысл того, что читал.

Так я делал день за днём, упорно и даже не пытаясь соблазнить самого себя каким-нибудь другим приятным и весёлым занятием. Или попросту поддаться лени, с которой я всегда был дружен. Я исполнял то, что рекомендовал Илья Рутберг, как приказ. Без вопросов. Исполнял рьяно. Такого со мной прежде не случалось.

Все мои попытки заниматься спортом, а такие в моей школьной жизни были, наталкивались на мою лень, отсутствие азарта и нежелание преодоления. Я пробовал заниматься вольной борьбой, плаванием и хоккеем. Но мне быстро становилось скучно, а соревновательность и желание кому-то и себе самому что-то доказать никак не просыпались. Довольно долго мне казалось, что я хочу заниматься фехтованием. Мне нравилась форма фехтовальщиков и оружие. Папа хотел, чтобы я занялся всерьёз хоть каким-то спортом... И когда наконец в городе открылась хорошая школа фехтования, я пошёл туда записываться. Я правда хотел. Но придя в назначенное место и ожидая своей очереди на собеседование, я увидел обычный спортзал, увидел мальчиков и девочек, юношей и девушек, которые бегали, прыгали, приседали, гнулись во все стороны, то есть делали то же самое, что и в секциях других видов спорта. Никто шпагами и рапирами не размахивал. Мне тут же стало заранее скучно, и я ушёл, не дождавшись своей очереди.

А тут вдруг я такой ленивый в своё вольное время, в свои шестнадцать лет, дома, без всякой практической необходимости, без указания учителей и родителей, наоборот, вопреки всяким указаниям и рекомендациям, в ущерб школьным занятиям и с риском погубить свою будущность занимался, в сущности, физическими упражнениями по книжке. Занимался не по причине пользы этих упражнений для здоровья... Я делал это потому только, что Илья Рутберг их описал и назвал свою книжку «Пантомима: Первые опыты». Слово «пантомима» было ключевым и решающим.

А вот тут я хотел бы вспомнить традицию английских старинных романов эпохи Просвещения и сентиментализма. Я хочу, как те романисты, обратиться к «пытливому читателю».

Обычно обращение выглядело приблизительно так: «В этом месте пытливый читатель непременно заметил бы...» Или: «Тут пытливый читатель вправе задать вопрос...». А я же скажу: если пытливый читатель успел подумать, не казалось ли мне самому странным моё тотальное увлечение и мои упорные занятия теми самыми упражнениями? То я отвечу: конечно, казалось!!! Я сам себе удивлялся. Я понимал, что то, чему я посвящаю так много времени вместо того, чтобы наслаждаться юностью или, наоборот, ответственно отнестись к завершению школьной учёбы и готовиться к поступлению в высшее учебное заведение... Я понимал, и весьма остро, что занимаюсь непонятно чем, непонятно для чего. Но в то же время я ясно осознал, что это выше моего понимания и выше меня. Так-то!

Самым угнетающим и тяжёлым в моём том непонимании было то, что в книжке Ильи Рутберга имелось всё, что нужно для того, чтобы подготовить своё тело, сделать его гибким и послушным, сделать его особенным... Вот только в ней не было главного. В ней не было сказано – ДЛЯ ЧЕГО! Для какой цели?

Как научиться волнообразно двигать руками и всем туловищем, как создать иллюзию бега или шага, но при этом остаться на месте, как изображать ладонями несуществующую стену, тянуть несуществующий канат, поднимать несуществующую тяжесть – всё это в книжке было. Но что с этими удивительными навыками было делать, зачем всё это было нужно, какова цель?.. Вот чего я в книжке не нашёл. В книжке не было ни слова о том, как совершить чудо, которое я видел в томском Доме учёных.

Исполняя сложные упражнения, растягивая мышцы, тренируя пальцы, следуя указаниям и рисункам, я осознал, что делаю нечто подобное заучиванию слов неизвестного мне языка, не зная их значения, не имея представления о грамматике, а значит, и не имея никаких шансов на этом языке заговорить.

Мне было очень нелегко тогда. Паша, с которым мы ездили в Томск, занимался карате и с удовольствием демонстрировал набитые кулаки, высокий мах ногой и совершал разные стремительные движения. Карате было тогда модным делом, а главное, понятным. Особенно в городе Кемерово. А чем занимался я? Что мог я показать? У меня более-менее получалась несуществующая стена и кое-как волна руками. Разве этим можно было гордиться? Нет! Это нужно было держать при себе. Трудная для меня тогда выдалась затянувшаяся зима и начало весны.

Постепенно острота моих переживаний притупилась. Это свойство юности. Да и весна наконец наступила. Упражнения делать я продолжал, но скорее по привычке и без сложных душевных самокопаний. Зато читать стал ещё больше. И читать иначе, чем прежде. Гораздо пытливее.

Книги вдруг стали не просто доставлять удовольствие и упоительное наслаждение... Книги стали производить глубокое впечатление. Они стали будоражить и задевать самые сильные, прежде не затронутые чувства и переживания. Я впервые захотел перечитать какие-то книги из школьной программы, которые были прочитаны поверхностно, не по собственной воле. «Герой нашего времени» был первым перечитанным сознательно произведением. Роман засиял и заискрился. Я был в восторге. Следом я тут же перечитал «Капитанскую дочку». Проглотил просто. И нашёл эту повесть слишком простенькой и скорее забавной, а прежде она мне нравилась очень. «Преступление и наказание» читал по новой так, как в тринадцать лет не читал Стивенсона и Джека Лондона. Не мог оторваться, забывал про еду. А потом случайно, исключительно по причине нежелания отрываться от Достоевского, решил прочитать что-то из его собрания сочинений не очень объёмное и выбрал повесть «Неточка Незванова»... В процессе чтения со мной случилось почти то же, что в томском Доме учёных. Закончив чтение, я был готов идти куда угодно, как тогда после спектакля «Шляпа волшебника». Я был потрясён повестью. Но был к потрясению готов. Я даже ждал его. И вот оно снова случилось. Тогда был апрель. Я это помню. И было воскресенье.

Я читал повесть всю ночь с субботы на воскресенье. Закончил под утро. Уснуть не смог. Совсем. Когда родители проснулись, я им сказал, что хочу поехать в библиотеку. Оделся, вышел из дома и пошёл куда-то пешком. Ботинки были мокрыми вдрызг... Голода и жажды я не испытывал. Вернувшись домой, я хотел только одного: срочно взять повесть «Неточка Незванова» и начать её читать сначала, но с особой целью. Прежде я таких целей не знал и перед собой не ставил. Я хотел перечитать повесть, чтобы узнать, как она сделана. Каково её устройство. И как, каким образом, чем конкретно буквы, слова, предложения, абзацы текста производят такое во мне.

Помню отчётливо, что был рад тому, что осознал в себе этот интерес и сформулировал цель. А главное, я радовался, что у меня есть возможность эту цель достичь. Книга же была. Её можно было взять и во всём разобраться. Её можно было читать, перечитывать, останавливаться, думать. Со спектаклем этого сделать было нельзя. Его можно было только снова посмотреть. Но остановить было невозможно... Да и посмотреть снова у меня возможности не было. Для этого надо было как минимум ехать в Томск.

Теперь я понимаю, что именно тогда меня впервые сознательно заинтересовал феномен искусства. Пусть и весьма наивно. Мне стало необходимо разобраться в том, каким образом искусство воздействует на человека. Понять, как оно работает. Понять конкретно и определённо... Как ребёнку, который хочет разобрать куклу или машинку, чтобы выяснить, как кукла моргает, а машинка ездит.

Я, когда пишу эти строки, изо всех сил вгрызаюсь памятью в те свои переживания, что случились со мной более тридцати лет назад. Вгрызаюсь и не чувствую этих десятилетий. Переживания свежи и так же не разгаданы мною сегодняшним, как и тогда, мною шестнадцатилетним. Я никогда не пойму, почему, по каким конкретным причинам переживания те мне выпали и устремили мою жизнь в направлении, в котором я двигался, двигаюсь и намерен это движение продолжать. Я не смогу разобраться, даже если детально вспомню всё, что тогда со мной происходило. Почему искусство стало главной составляющей и сутью моей жизни.

Повесть «Неточка Незванова» я перечитал не лёжа, как прочёл изначально, а сидя за столом. Я занялся этим перечтением как работой. Читал внимательно. Подчёркивал в книжке особенно необычные обороты и диковинные слова, выделял целые куски, которые показались сложными или непонятными, намереваясь над ними подумать. Перечитал не отрываясь и не понял ничего про устройство прочитанной повести.

Я не понял, где и как в этом тексте спрятано то, что произвело на меня самое грандиозное впечатление. Я видел, что Достоевский употребляет слова не как другие авторы. Слышал и понимал, что тот язык, которым он пишет, устроен особым образом, что его герои говорят так, как люди не разговаривают не только теперь, но и вряд ли говорили в бытность Фёдора Михайловича. Всё в его тексте было особенное. Но впечатление моё случилось не из-за этой особенности. Точнее, не только из-за неё... Сейчас я понимаю, что тогда я силился понять, как устроено чудо, полагая, что имею дело с каким-то фокусом, которому есть буквальное, конкретное объяснение, то есть существует разгадка. Когда тебе шестнадцать, всё должно иметь конкретное объяснение, причины и смысл. Смысл, по возможности, простой.

Однако ничего конкретного я тогда не понял, не увидел, не разглядел. И ничего успокаивающего придумать не смог.

Я же понимал, что повесть эту написал человек, которого звали Ф. М. Достоевский, живший когда-то давно. «Неточку Незванову» и историю её отца он выдумал или слышал о подобной истории и её додумал. Да мало ли! В любом случае, даже если такое с людьми, как в повести Достоевского, и случается, то я о таком не слыхивал и людей, похожих на героев Фёдора Михайловича, не знаю. В конце концов, думал я, это же просто книжка. Одна из бесконечно многих. Почему же со мной она сделала такое? И какое такое? Мне же было от этой книжки ни хорошо, ни плохо, ни грустно, ни весело... А как-то всё вместе... Непонятно... Но непостижимо сильно. До самотекущих слёз, до затруднения дыхания... И что мне были те люди на сцене маленького зала томского Дома учёных, которые играли спектакль? И сам спектакль... Что мне это всё?!

Да. Тогда я впервые в жизни заинтересовался не только феноменом искусства, но и непостижимой сутью впечатления, которое искусство производит. До сих пор для меня это так же важно и так же непостижимо... Но теперь я умею жить с непостижимым и с необъяснимым. А тогда мне необходимо было всё конкретно понять и постичь... Однако лгу. Физика, алгебра, геометрия и химия не входили в число тайн и чудес, которые мне хотелось постигать.

Конечно, в столь юном возрасте, в шестнадцать лет, я не мог долго мучиться глобальными вопросами. Юность взяла своё. И я, как-то само собой это произошло, стал просто наслаждаться непонятным мне чудом искусства.

Тогда впервые со мной случилась поэзия. Я вдруг... Не помню, хоть убейте, как и с какого именно поэта, нырнул в стихи. И понеслось... Блок, Лермонтов, Давид Самойлов, Высоцкий, Фет, Байрон, Вознесенский, Цветаева, Басё, Маяковский, Окуджава и даже Валерий Брюсов.

Помню, что я робко пытался рифмовать. Но цельного стихотворения у меня не получалось. Я просто пробовал – каково это, писать стихи. Трудно это или нет. Выяснил, что это непосильно трудно, и ещё более страстно стал восхищаться поэтами и поэзией.

Отчётливо понимаю сейчас, что желания и стремления к творчеству, к созданию собственного произведения искусства во мне тогда ещё не было. Искусство было слишком чудесно, и люди, его делавшие, – тоже. Но жить искусством мне уже хотелось. Жить чтением, слушанием, смотрением... Это да! Я, разумеется, хотел себе чудесной жизни.

Последний школьный апрель и май мне пришлось заниматься выбором и решением, куда идти учиться после школы. Родители насели. А я всё прекрасно понимал. Выбор делать надо. Тянуть с ним нельзя.

Физика по маминой линии была для меня невозможна, экономика по папиной стезе – тоже. Медицина, биология по стопам бабушки, дедушки и многих родственников были мной отвергнуты. Да никто и не настаивал, глядя на меня. Родителям и родне было видно, что я не рождён для таких поприщ. На юридический был слишком большой конкурс. В другой город меня на учёбу никто отправлять не собирался, а я и не хотел. Про театральное училище я не думал вовсе. Театр как таковой мне был неприятен. Куда ещё можно было пойти?.. В Кемерово было и военное училище, но в его сторону мы даже не глядели. Оставались история, иностранные языки и филология в университете.

Я лично не хотел ничего. Я хотел, чтобы всё шло как идёт. То есть просто хотел читать.

Пантомима?.. Она была мною уже осознана как нечто недостижимое. Желанное, прекрасное... Но недостижимое.

Короче говоря, я решил поступить на филологический, где можно будет много читать. А дальше – что называется, посмотрим. Пять лет университета тогда виделись бесконечным временем. В шестнадцать лет мне казалось, что школа была всегда. Дошкольное время не помнилось. Десять лет школы – целая вечность. Пять лет университета – это половина от всегда и вечности. То есть о будущем после университета можно было вообще не думать.

Родители не без скрипа одобрили мой выбор, к тому же на филологический конкурс был минимальный.

Школьные выпускные экзамены я сдавал как во сне. Волнений и страхов было много. Учителя всячески их подогревали. Но в то же время как-то и почему-то было ясно, что никого не покарают и все так или иначе получают свои аттестаты зрелости и путёвки в жизнь. Школа нас до последнего дня хотела воспитывать, но никто зла нам не желал.

Волновались до обморочного состояния только отличники и отличницы. Для них оценки и безупречный аттестат, а то и медаль за великолепную учёбу были делом всей их недолгой жизни. Конечно, они жаждали отличных результатов и медалей. Они алкали отплаты за несчастное и безрадостное детство. Я не был отличником. Мне оценки были безразличны. Лишь бы только они не помешали дальнейшей жизни и не слишком огорчили родителей.

Всё же как прекрасно было то, что тогда экзамены были не тестами, не бесконтактными ответами на перечень вопросов. Если бы экзамены были именно тестами, то я не представляю, как сложилась бы моя судьба.

Учителя всё прекрасно о нас знали. Уровень нашей подготовки им был известен лучше, чем нам самим. У них, в отличие от нас, не было иллюзий на наш счёт.

На экзаменационной контрольной по алгебре, когда я прочёл задание и задачи, я сразу понял, что совсем ничего не знаю и не смогу решить ничего. Я сидел около часа и даже не пытался изображать деятельность. Все писали, морщили лбы, грызли ручки, кто-то елозил со шпаргалками... Когда первые отличники пошли сдавать свои работы, полностью справившись со всеми заданиями, наш любимый учитель математики тихонечко принёс мне листочек, на котором было написано решение задач и всё остальное. Мне нужно было просто всё это аккуратно переписать.

Помню, что даже не очень удивился. Я ждал чего-то подобного. Не именно этого, но чего-то в жанре неминуемого чудесного спасения. Ждал очень спокойно... Я тогда ещё был уверен, что взрослые сами всё придумают за нас...

Я переписал тот листочек точь-в-точь. Очень аккуратно. Без единой пометки. Контрольная моя выглядела не хуже, чем работа отличников. Возможно, даже лучше. Через день я узнал, что мне за контрольную поставили тройку. Я был, и по сей день, благодарен учителю математики, моей школе и той школьной системе в целом за тройку по алгебре и за то, что это было не унижительно.

С физикой было хуже. Не в смысле знаний, знания по алгебре и физике были одинаково хороши, а в смысле экзамена. По физике был устный экзамен. Всё, что я мог к нему подготовить и сделать, – это соответственно экзамену одеться и вовремя к нему явиться.

Учитель физики – маленький, кудрявый, довольно терпеливый, но злопамятный человек, который не любил меня за мою нелюбовь и презрение к его предмету, – подошёл ко мне до начала экзамена и сказал, чтобы я шёл последним. Он явно не хотел мне этого говорить, да и проявлять участие ко мне не хотел. Но он определённо исполнил высшую волю и общее правило, которое гласило: никого нельзя карать.

Нас, последних на тот экзамен, набралось человек шесть, разгильдяев и неучей. Я был, видимо, самым-самым плохим, поскольку позвали меня самым-самым последним. Экзаменационная комиссия к тому времени устала. За окном кабинета физики стояла дивная летняя погода. Занавески, как сейчас помню – бледно-жёлтые, колыхались у открытого окна и усиливали желтизну солнечного света. В школьном дворе веселились и горланили те, кто своё уже сдал. Их голоса и смех залетали в окна. Мне стало скучно...

Строгая наша завуч предложила мне выбрать билет. И непонятно зачем и для кого, соблюдая конспирацию, два раза стукнула пальцем по одному из билетов. Зачем была эта таинственность? Всем всё было ясно. А камер наблюдений тогда не существовало даже в фантазиях учителя физики...

Я подумал тогда: «Какой плохой всё это спектакль! Как бездарно все играют. Как противно, когда все роли выучены, всем пьеса известна, всем она не по душе, но нужно что-то изображать. В таком спектакле невозможно сыграть хорошо».

Я взял тот билет. Наивная наша завуч не могла догадываться, что я не знаю ничего. Вообще ничего! И бессмысленно мне было предлагать лёгкий билет. Лёгких для меня не существовало. Все билеты были одинаковы... Помню, однако, что мне попался билет с темой «Интерференция». Слово запомнилось само собой.

Завуч, увидев, что моё кислое лицо не просияло от лёгкости билета, догадалась, что слишком хорошо обо мне думала. Я же медленно прошёл за парту, сел и опять не стал изображать никакой работы, а просто стал ждать чего-то. И дождался. Маленький кудрявый наш физик, завуч и какая-то дама не из нашей школы, то есть комиссия, пошептались... И физик, страдая и морщась, принёс мне бумажку, которую как бы невзначай оставил мне на столе, якобы проходя мимо меня по своей надобности. В тот момент я вспомнил спектакль «На дне» нашего областного театра драмы – так всё было бездарно задумано и сыграно.

На бумажке было что-то нарисовано и написано. Я это срисовал и переписал. Принесённую бумажку смял и сунул в карман. Как же мне было противно играть эту шитую белыми нитками роль! А в это время предпоследний бедолага что-то мямлил у доски. Мямлил, как под пыткой, но он всё же что-то говорил... Я же точно ничего сказать не мог.

Когда тот самый предпоследний закончил, к доске пригласили меня – распоследнего. Я к доске пришёл и, не издав ни звука, в смысле не сказав ни слова, медленно срисовал и переписал со своего листочка всё, что на нём было, мелом на доску. Физик, завуч и дама терпеливо ждали и тоже молчали. Закончив писать и рисовать, я положил мел на полочку да так и остался стоять, глядя на то, что начертал, вытирая взмокшую и испачканную мелом руку о брюки. Пауза висела невыносимо долго. Я говорить ничего не собирался. Учителя тоже. А пауза висела. «Ненавижу театр», – думал я, изнывая от безмолвия и бессмыслицы происходящего.

– Ты что, плохо себя чувствуешь? – в конце концов спросила завуч. Подождала моего ответа, но не дождалась. – Голова болит, да?

Я подумал и кивнул.

– Погода так и меняется всё время, – продолжила она. – У меня голова день и ночь болит... Ну что ж... Ступай, если не здоров... Иди, иди...

Я ещё раз кивнул и вышел не оглянувшись. Не хотел встретиться глазами с физиком. Вышел из класса, как говаривал дед, будто в штаны натряс. Было ужасно стыдно, противно и тошно. Но не от незнания физики, а от участия в бездарной постановке. За экзамен мне поставили тройку. Всё равно спасибо большое!

Остальные экзамены не буду описывать.

Сочинение по литературе только упомяну. Темы были такие... Приблизительно такие: «Тема свободы в стихотворении “Парус”», «Раскольников и Свидригайлов в романе “Преступление и наказание”», а ещё была свободная тема.

– Пожалуйста, не выдумывай ничего! Пиши, как мы обсуждали. И коротко. Короткими предложениями, – быстро прошептала мне учительница литературы, когда выдавала мне бумагу для написания.

Я быстро и коротко написал сочинение на свободную тему. Написал про то, что в пьесе «Горе от ума» Грибоедова автору особенно хорошо удалось создать образ умного и страдающего молодого Чацкого, который всё же вёл себя глупо, пытаясь дуракам объяснить, что они дураки, а подлецам, что они подлецы. Написал, что таким глупым поведением герой не мог добиться расположения Софьи и что Пушкин считал, что Чацкий мечет бисер перед свиньями. Как-то так.

За это сочинение мне поставили пятёрку. А учительница по литературе сказала мне перед выпускным вечером, что я пижон, что я ей надоел со своими фокусами и что подвёл её своим сочинением, поставил в глупое положение перед другими членами комиссии. Спасибо ей огромное! Была бы возможность, извинился перед ней тысячу раз. За все свои фокусы, а за спектакль «Сирано да Бержерак» отдельно.

В день выпускного мне не верилось, что больше никогда в жизни я не буду прикасаться к алгебре, физике, химии. Я так радовался! Так ликовал! Тогда само осознание значения фразы «никогда в жизни» радовало и вызывало восторг облегчения. Теперь эта фраза вызывает совсем другие чувства.

К выпускному вечеру, хотя это мероприятие громко именовалось «Выпускной бал», наш класс на собрании решил подготовить небольшой концерт и стенгазету. Девочки радостно загалдели, желая делать газету. Они любили ко дню рождения учителей делать газеты с нарисованными цветами и вклеенными в эти цветы фотографиями, а также писать разноцветными фломастерами стихи. Наверное, им было приятно заняться рукоделием и вырезать лица из

фотографий за все школьные годы. Меня всегда удивляла страсть девочек к вырезанию чего-то из чего-то, к рисованию цветов и платьев.

Концерт же был практически заранее готов. В классе нашем номеров для этого концерта хватало. Отличница из отличниц, самая аккуратная, с прямой, как указка, спиной и шеей, девочка всегда на школьных концертах громко и самоотверженно читала стихи, в основном про то, как ярко надо жить и стремиться к ещё большей яркости. Несколько девочек регулярно грустно пели весьма печальные песни о том, что школьные годы – это лучшее время в жизни, про то, что школа никогда не забудется и что всё будет хорошо. Один долговязый, сильно заикающийся наш одноклассник ходил в какой-то кружок, где учили делать фокусы. Он их с удовольствием показывал на школьных концертах и не раз представлял нашу школу на городских смотрах. А ещё мы всем классом могли спеть совсем грустную песню про учителя, который нас всех любит, но мы неизбежно растём, покидаем школу, а ему предстоит любить новых идущих следом, но мы, его ученики, никогда не забудем ни школу, ни своего учителя. Вот и весь концерт.

– А у нас ещё есть артист, – вдруг сказал Паша и указал на меня. – Он может показывать пантомиму.

На слове «пантомима» Паша стал нелепо размахивать руками, растопырив пальцы. Все заржали.

– Ну что же, прекрасно! – сказала наша учительница английского языка, самая модная дама в школе, любящая всё диковинное и необычное. – Мы с удовольствием посмотрим и послушаем.

– Я не умею!.. Я не могу... – почти крикнул я, вскочив и опрокинув стул.

– Не скромничай, – сказала учительница английского.

– Но я один не могу, – отчаянно сдерживая крик, сказал я.

– Привлеки кого хочешь, – ответила она. – Порадуйте нас, чтобы нам было что вспомнить о вас хорошего... талантливого, – сказала она, уже обращаясь ко всему классу.

От собрания и до выпускного вечера оставалось ещё четыре дня. В один из этих дней был назначен устный экзамен по истории, самый лёгкий и не страшный.

В те дни я придумал и сделал свой первый в жизни спектакль. Крошечный. Дурацкий. Но спектакль! Спектакль с началом, финалом, персонажами, музыкой, костюмами и даже диалогами. Сначала я был обескуражен заданием подготовить выступление, но потом идея меня увлекла. О настоящей пантомиме я думать не стал. Это было недостижимо. А вот сделать что-то весёлое мне очень захотелось... И тогда я придумал спектакль-пародию на индийское кино.

Американское кино тогда появлялось на экранах кинотеатров редко. Европейское тоже. Да и то это были фильмы либо исторические, сказочные, или содержащие критику буржуазного общества. Зато индийское кино показывали регулярно. Люди от него были в восторге. Драки, песни, любовь. Мои друзья и я это кино терпеть не могли. Но индийские фильмы мы знали. Лет до одиннадцати-тринадцати мы их всё же смотрели, а то и по нескольку раз. Там много дрались, стреляли и были всякие трюки. Песни и любовь мы терпели. Да и другого кино попросту не было. Девочки индийские фильмы смотрели и после тринадцати лет. Они терпели драки и стрельбу, зато песен и любви в том кино было больше. Мы, мальчишки, над ними издевались по этому поводу.

Наверное, в то время многие так или иначе пародировали индийские фильмы. Или как-то шутили на их тему. Идея моя была не оригинальна. Но я тех пародий, честно, не видел и шуток не знал. Так что я сам придумал свой спектакль. Придумал. Сел. И написал. Это было моё первое сценическое сочинение.

Для постановки нужно было привлечь двух человек. Третьим персонажем, главным героем, намерен был быть я сам. Точнее, я хотел сыграть двух персонажей – отца и сына. Но нужны были ещё мальчик и девочка. Необходимы. Первым делом я привлёк Пашу, который

тут же отказался, хотя любил всякие затеи да и покривляться был не дурак. Но спектакль для выпускного вечера – это было другое дело, иной уровень. Но я его уговорил. Соблазнил возможностью в спектакле на сцене продемонстрировать свои боевые навыки и достижения в области карате. С девочкой было сложнее. Девочки все хотели участвовать либо с подружкой, либо никак. Подруга была не нужна. В итоге удалось убедить одну любительницу индийского кино. Она наивно поверила, что мой спектакль будет не пародийный, не ехидный, а наоборот. А ещё оказалось, что у неё есть настоящая индийская одежда и у неё возникала возможность в ней покрасоваться.

Не буду вспоминать наши репетиции. Это оказалось очень трудным, а главное, очень нервным делом. Любительница индийского кино, моя единственная актриса пришла на репетицию с подружкой, объяснив, что без неё она не сможет одеться в индийский наряд. Одевалась она больше часа, а мои аргументы, что для первой репетиции костюм не нужен, она просто пропустила мимо ушей. Паша весь этот час изводил меня легкомысленным своим отношением к делу. Парень, который должен был включать музыку, всё время куда-то уходил.

Мы выступили прекрасно. Не могу вспомнить, как я называл свой первый спектакль. Что-то вроде «Месть за месть» или «Месть из мести». Паша играл злодея, который убивал доброго и хорошего парня, которого играл я. Девочка исполняла роль возлюбленной героя, а потом его мать. Я придумал и выучил танец, который означал, что мой герой очень хороший, добрый, честный, умный и воспитанный человек. Во время этого танца злодей убивал моего героя. Но до своей гибели мой персонаж оказывал жалкое сопротивление, потом танцевал, умирая. Паше в этом спектакле нужно было только громко и зло смеяться. А девочке в индийском наряде нужно было только изображать рыдания и красиво ходить. Она это делала предельно красиво, явно удивляясь смеху зрителей. Чистая, наивная душа.

После гибели моего героя Пашин злодей радовался, показывал разные приёмы, стойки, блоки и удары из карате. А потом уводил рыдающую героиню. Я же в это время быстро переодевался и появлялся в другом костюме. Мой обновлённый герой обращался к героине «мама», а к Пашиному злодею «отец». Я написал пару дурацких диалогов и придумал себе танец, который означал доверчивость, доброту, юность и полную наивность.

В конце спектакля мой герой по имени Виджай возмущался жестокостью отца по отношению к матери и ко всему на свете, он начинал удивляться, почему сам он такой добрый, а отец такой злой. Да ещё совсем не похож с сыном.

В итоге героиня выкрикивала фразу, которая разоблачала Пашиного злодея и сообщала Виджаю, что перед ним не родной отец. После чего шёл танец с дракой, в которой злодей, на свою голову обучивший Виджая карате, погибал в страшных муках. Паша очень хорошо кривлялся на полу актового зала – школьной столовой, изображая мучительную смерть. Кривлялся долго. И при этом по заданию режиссёра, то есть по моему указанию, громко и жутко хохотал. В конце героиня и Виджай танцевали танец радости и торжества справедливости.

Единственная фраза, которую произносила героиня, разоблачая злодея, осталась в моей памяти дословно. Когда я её придумал, то сразу понял, что она мне удалась и является главной фразой всего действия. Я очень гордился ею. Когда на этой фразе зал взорвался смехом и аплодисментами, я впервые ощутил и испытал авторское счастье.

А фраза звучала так: «Сын мой! Это не твой отец. Твой отец убит, а убил твоего отца твой отец».

Нам долго аплодировали. Я видел восторг. Я был и удивлён этим, и счастлив одновременно. Удивлён тем, что у меня получилось пусть маленькое, но выступление на сцене, а счастлив, потому что я хотел восторга, я его жаждал... И получил.

Все нас поздравляли. Хвалили. Я очень хотел, чтобы кто-нибудь сказал мне что-нибудь про мой спектакль, оценил фразу, разглядел всю тонкость иронии и точность пародии... Но вслед за нами на сцену вышли девочки петь песню о чудесности школьных лет, потом были

стихи, потом директор школы говорила нам торжественное напутствие, потом вручали отличникам грамоты и медали. Потом начал играть приглашённый ансамбль. Пошли танцы... Кто-то из одноклассников стал тайком уходить во двор или в туалет, чтобы выпить загодя припрятанного креплёного вина... Про мой спектакль забыли. Забыли быстро... А мне не хватило чего-то. Не хватило слов благодарности и внимания. Не хватило оценки и понимания... Не хватило!

Я тогда не знал, что не будет хватать никогда.

А потом было упоительное лето. Я готовился к вступительным экзаменам... Точнее, я что-то читал из списка литературы к тем экзаменам. Читал в своё удовольствие, ходил в кино на всё подряд. Летний город Кемерово был пустынее обычного, демисезонного. Спокойнее. Ничто не отвлекало. Даже кино, которое я смотрел, забывалось через какой-то час после просмотра. Я ел мороженое, гулял по парку под названием Комсомольский в надежде найти хорошую скамейку, чтобы почитать. Хороших скамеек в том парке мне не попадалось. Все либо были сломаны, либо грязны, либо заняты. Честно говоря, я так и не научился читать в парках, на пляже, на балконе... Не смог. Всё меня отвлекало, да и теперь отвлекает... Жизнь мешает чтению.

Короче говоря, я поступил в университет. Экзамены сдал не без сильных волнений, но и без особого труда. Я и отвечал неплохо экзаменаторам, и у меня было существенное преимущество перед большинством поступающих. Фор. Козырь. Я был юношей. Мужским родом. А девяносто процентов желающих учиться русской филологии были барышни. В большинстве своём из районных центров, посёлков и деревень. А я был городской парень. Редкий экземпляр. Мне были рады.

Парней поступало на филфак всего десять человек. Поступили восемь. Двое откололись, да и то только потому, что поняли во время экзаменов, что не туда подали документы, и филология им точно не нужна в жизни и не интересна по сути.

За время подготовительных курсов перед вступительными экзаменами я познакомился с ребятами, с какими прежде не общался. Они были особенными. Они обращали на себя внимание. У них была своя компания, свой язык и даже своё собственное пространство и время. Они жили как бы не в Кемерово и как бы не в сегодняшнем актуальном времени. Они были постарше меня. Школу закончили кто пару лет назад, а кто-то и все десять. В армии не служили, как-то от неё отмазались. Что-то делали, где-то работали, или не работали. Подолгу жили не в Кемерово, часто вспоминали Москву и Питер. У одного были дети. На филфак они поступали компанией в четыре человека. Три парня и одна девушка. Однако эти четверо были только частью довольно большой группы тех самых особенных людей.

Они слушали особую музыку. Фрэнка Заппу. У них были пластинки группы Дорс, Чеслава Немана, Майлса Дэвиса... Читали они Германа Гессе, Хулио Кортасара... То, о чём они говорили и над чем смеялись, мне было непонятно. Но их компания меня так возбудила и так потянула в свои ряды! Я почувствовал жгучее любопытство и даже глубокий интерес.

До встречи с ними я был уверен, что много читал и слушал музыки. Но те имена, которые они называли, я в большинстве своём слышал впервые. Я подумал тогда: вот она – интересная студенческая, подлинно свободная жизнь. Вот, где настоящие глубокие содержательные разговоры и смысл.

С той компанией дружили аспиранты и молодые преподаватели филологического факультета. Сообщество, представителей которого я повстречал на подготовительных курсах, явно было центром притяжения для особенных людей. Я очень хотел быть особенным.

После поступления и зачисления, после получения студенческого билета, после торжественного ужина, который устроили родители в честь начала моего студенчества, но ещё задолго до начала занятий, летом, мне позвонил мой новый приятель, а теперь ещё и сокурсник, один из описанной выше компании. Он пригласил меня вечером в гости, «на квартир-

ник». Так он сказал. В тот раз я впервые слышал этот термин. Адрес, который он мне сообщил, находился в самом-самом центре и в самом лучшем и красивом уголке города. Я прежде ни разу не бывал в домах и квартирах того уголка.

На том квартирнике собралось человек десять парней, мужчин и девушек. Сама квартира была большая, в сталинском доме, с хорошей мебелью и картинами на стенах. С превосходной библиотекой, красивой посудой в буфете. Квартира была почти как у профессоров в Томске, только чисто прибранная, без хлама, без джунглей разросшихся растений, без уютного беспорядка, а совсем наоборот. Всё было на своих местах, всё продумано, дорого и солидно.

Собравшиеся, наоборот, были продуманно неряшливы, длинноволосы, небриты и бледны. Они казались тайком проникшими ночью в музей. Девушек было две. Обе в джинсах и каких-то растянутых, застиранных свитерах. С прямыми, длинными волосами и обе в очках.

Когда я пришёл, все уже были в сборе. Большой стол в гостиной был отодвинут к стене. В центре комнаты на полу лежала серенькая скатерть. На ней стояли тарелки с хлебом и какой-то порезанной колбасой, блюдце с орехами, вазочка с конфетами. Всего немного. Никто ничего не ел. Ещё на скатерти стояли стаканы и бокалы. Пара бутылок вина и бутылка водки. Кто-то сидел на полу, кто-то на диване, кто-то курил на балконе. Голоса доносились с кухни. Все говорили разом. Смеялись.

Пригласивший меня парень представил меня всем. Парни и мужчины, которым я был представлен, как и девушки, были длинноволосыми, кроме одного, совершенно лысого. Все по очереди со мной поздоровались и продолжили свои разговоры. Я не знал, куда себя пристроить, потоптался и робко присел на диван. На том диване уже сидел тощий парень, одна из двух девушек, а перед ними на полу восседал высокий, румяный человек с кудрявой светлой бородой и роскошной шевелюрой. Они говорили оживлённо и весело то ли о какой-то книге, то ли о фильме, то ли о каком-то новом альбоме какой-то группы. Я слышал незнакомые иностранные имена, массу неведомых терминов, какие-то названия то ли городов, то ли планет, то ли рек, то ли просто неизвестных мне предметов одежды или продуктов питания. Я ничего не мог понять. Они же говорили так, что было ясно: они не просто знают значение всех этих слов, но и всеми упомянутыми предметами давно и привычно пользуются, бывали во всех упомянутых городах, а людей, чьи имена звучали, знают лично и близко.

Я, аккуратно стриженный, в своей аккуратной клетчатой рубашке с коротким рукавом, заправленной в мои любимые вельветовые брюки, казался себе в той компании страшно скованным дремучим провинциалом с окраины города. Города, который находится на окраине мира. Из глухомани. Из дыры.

В компании томских профессоров я не чувствовал себя столь убогим и ничего не знающим. Но мне было всё интересно, мне казалось, что всё наполнено смыслом. Я бы так и сидел, стараясь не привлекать внимания. Слушал бы и пытался запомнить незнакомые слова и названия. Но тут с балкона шагнул в комнату совсем бледный человек, очень худой, в белой, чистой, не глаженной длиннющей рубашке и сильно застиранных, почти белых, джинсах.

– Ну что, послушаем? – улыбнувшись, сказал он, обращаясь к собравшимся. – Запись свежая, можно сказать, тёплая. Ещё никто не слышал... Даже в Питере. Почти никто. А на просторах Сибири вы точно будете первыми.

– Давайте! – сказала девушка с дивана. – Мне не верится... Правда!.. Даже в дрожь бросает.

– Будем слушать новый альбом «Аквариума», – тихонечко, почти на ухо, сказал мне пригласивший меня парень. – Дима только что из Питера. Привёз запись. Только-только закончили писать... Ему дали... Гребенщиков лично...

– Только сразу говорю, – сказал человек в белой рубашке, улыбаясь, но серьёзно и многозначительно. – Чтобы без обид. Слушаем здесь и сейчас. Никому плёнку переписать не дам. Не могу. Дал слово. И домой никому не дам. Даже в руки не дам. Обещал... Ну что, готовы?

Магнитофон, усилитель и акустическая система в той квартире были великолепные. Японские. Я таких прежде ни у кого не видел.

Человек в белой рубашке сходил в другую комнату и принёс катушку с плёнкой... Магнитофон и усилитель включили, зажглись огоньки и экранчики индикаторов. Вздохнули и зашипели колонки. Все притихли, магнитофон начал вращать катушки, и плёнка потекла с одной на другую. Сначала зазвучала флейта.

Я тогда уже знал песни «Аквариума». Разные. Какие-то мне нравились, какие-то нет. Какие-то мне хотелось понять до конца, какие-то не хотелось понимать вовсе. Некоторые я знал наизусть и обожал.

Тот альбом мне совершенно не был понятен. Звучало всё неплохо, местами чудесно. Но я не понимал, о чём пелось. Я не знал буддистских терминов, не улавливал тем и не угадывал смысл. А все в той квартире понимали. Они вместе смеялись, вместе чему-то одобрительно кивали, переглядывались, чтобы поделиться восторгом. Я отчётливо видел, что всё, что мне непонятно, для остальных наполнено важным и ясным содержанием.

Я вообще-то слушал много музыки. Чаще всего дома один, бывало с другом или с несколькими приятелями. Какую-то я страстно любил и слушал с наслаждением. Но я никогда не слушал музыку так, как те люди в той квартире. Они впитывали всё. Их глаза закатывались или закрывались сами собой, так они растворялись в звуках. Они с упоением слушали даже шипение колонок и шелест плёнки в перерывах между песнями. Слушали, потому что это были шипение и шелест между песнями «Аквариума». Это шипение было записано на одной плёнке с голосом и музыкой Гребенщикова. Они наслаждались самым этим шипением.

Я тогда так захотел понять и почувствовать то же, что чувствовали собравшиеся! Я так захотел быть одним из них... Но ничего не понимал. Наоборот, чуть несколько раз не зевнул. С трудом и до сильной боли в скулах сдержал зевоту. Я понимал, что зевание под новый альбом «Аквариума» мне не простят.

Тогда, в той квартире, в элитнейшем районе Кемерово, сидя тихонечко на диване, я был уверен, что то общество, в которое я попал, – это и есть элита. Элита даже не Кемерово, а элита вообще.

Интересы этих людей были непостижимо далеки от того, чем жили, что делали, о чём думали, чего хотели, что читали и слушали, чем интересовались кемеровчане. Все! От вахтёров до врачей и преподавателей вузов. Мне страстно захотелось быть одним из тех, кто собрался на квартире, а не одним из кемеровчан.

После того вечера я потянулся к обществу этих людей всем своим существом. Я через день да каждый день к кому-то ездил домой или на дачу. Все мои новые знакомые были обеспечены и дачами, и квартирами в центре, и автомобили многим были доступны, что в то время было признаком широких возможностей. Никто из них не работал или не был очень занят и обременён обязанностями. Все как-то что-то и зачем-то делали. Но назвать это работой было нельзя. Я понимал, что квартиры и дачи принадлежали родителям, может быть дедушкам или дядям этих моих приятелей. А эти папы и дяди, очевидно, большие люди, но где они, эти предки, и почему отсутствуют, меня не интересовало.

Я удивлялся другому. Я же знал, хоть и не был знаком лично, что дети тех людей, которые жили в том районе города и имели дачи, не должны читать Музиля и Пруста или вообще что-то читать. Они не могут слушать Фрэнка Заппу и «Аквариум». Дети партийных руководителей, прокуроров, директоров шахт и заводов, главврачей и заведующих магазинами учились в двух центральных школах, похожих на уменьшенный вариант Смольного института. Про детей из тех школ ходили легенды и мифы. Люди пересказывали друг другу случаи про замятые жуткие скандалы, про настоящие оргии и даже про наркотики.

Новые мои знакомые были совсем не такими. Они могли часами говорить о неизвестных мне материях, обсуждать новую пластинку Дэвида Боуи или безмолвно слушать и страстно

впитывать запись концерта Майлса Дэвиса. Они передавали друг другу книги... Были среди них те, кто мог много выпить водки и выпивал, а были те, кто не выпивал совсем. Курили в той компании поголовно. И, как я узнал позже, а сам догадаться и понять не мог в силу наивности и целомудренности, покуривали марихуану. Но тоже не очень активно. Иначе я заметил бы что-то странное. Они не матерились вовсе. Наоборот, старались говорить витиевато, часто иносказательно и иронично.

Вся мною прочитанная литература, всё, что я знал и любил, знанием чего я гордился, то, чего не читали и не знали одноклассники, было в том обществе, куда я случайно попал, давно и хорошо известным по умолчанию. Никакой Лермонтов, Толстой, Гоголь и уж тем более Стивенсон и Куприн ими не упоминались вовсе. Разве что Достоевский, да и то в связи с какими-то другими авторами или философами. Никакого Тютчева или Фета, никакого Блока! Про Твардовского или Рубцова глупо было даже заикнуться.

Сартр, Фриш, Беккет, Борхес, Гурджиев... Кортасар... Страшно сказать – Кастанеда... И масса ещё имён, которые я тогда услышал впервые. Некоторые из них я больше не слышал никогда.

Знания моих новых приятелей, их интересы мне казались глубокими и особенными. А мои собственные познания и пристрастия осознались мною обычными, среднестатистическими, устаревшими и никуда не ведущими.

Они слушали и наслаждались такой музыкой, которая мне казалась либо слишком сложной, либо вообще не казалась музыкой. То, что слушал и любил я, было для них давно пройденным, переработанным материалом некой верхушкой, тем, с чего они когда-то начинали, но давно и быстро прошли, всё про это поняли и углубились или, наоборот, поднялись на качественно иной уровень.

Я брал у них записи и пластинки, брал книги. Слушал и читал. Упорно. И был в ужасе сам от себя. Мне трудно было слушать Майлса Дэвиса. Я не мог уловить разницы одной его композиции от другой. А Фрэнка Заппу я попросту не мог слушать. Я ощущал себя не то чтобы ущербным, но не способным полюбить ту музыку. Не способным даже её слушать.

Стрепетом и пиететом один из моих новых знакомых дал мне на недельку почитать книгу Германа Гессе «Степной волк».

– Завидую тебе, – сказал он, протягивая мне весьма почитанную книгу в тёмно-синей обложке. – Ты ещё это не читал. Хотел бы я это прочитать так, будто не читал никогда. Перечитывал пять раз. Каждый раз открываю новое. Шедевр!.. А потом тебя ждёт его «Игра в бисер». Это вообще космическая книга.

Я прочёл «Степного волка». Это было трудно. Почти мучительно. Я заставлял себя. Заставлял не читать, а заставлял себя получать удовольствие, заставлял вчитаться и увлечься. Но мрак текста не давал мне такой возможности.

Сейчас мне ясно, что это мои юность и жизнерадостность сопротивлялись. Тягучий Роман Даниила Гранина «Картина», входивший в программу по внеклассному чтению, Тендряков и Приставкин не вызывали у меня такой тоски, как Герман Гессе. Даже Фадеев, даже «Мать» Горького многое во мне затрагивали. А тут... Я ненавидел себя!

Знакомство с тем обществом внесло смятение в мою душу и сознание. Мне не только хотелось быть в этом обществе, общаться в нём, слышать, слушать... Но и стать в нём заметной фигурой со своим мнением и со своей темой.

Но для этого мне необходимо было догнать их в развитии и познании. А как? Если то, что мне ими давалось для прочтения и прослушивания, усваивалось со скрипом, а то и попросту отторгалось. Я мучился! Они же в это время уходили вперёд семимильными шагами.

К тому же они много куда-то ездили, летали. В основном в Питер. У них были тесные связи с питерскими музыкантами, художниками, какими-то заметными, умными людьми. Из Питера они получали свежую музыку, тексты... От них я слышал про настоящие питерские

«квартирники», то есть квартирные концерты Гребенщикова, Майка Наумова и Цоя. Записи этих квартирников мы слушали то на одной квартире, то на другой, то на чьей-то даче. Это мне искренне понравилось. И я слегка расслабился. Но те тексты, которые долетали из Питера, какие-то стихи новейших поэтов, новая проза, изобиловавшая, о ужас, матом, да ещё какие-то художественные манифесты литературных объединений или групп художников – этого уже я понять был не в силах. Мои же новые знакомые, наоборот, – всё понимали. Все эти стихи и манифесты были будто лично для них написаны.

Мне кажется, что я тогда совсем не думал о пантомиме. Не помню точно. Я был слишком увлечён, очарован. То очарование длилось недолго. Вскоре начались занятия. Начался университет.

Я не ожидал, что лекции и первые семинары так сильно меня увлекут. Мне понравился совершенно иной уровень обращения преподавателя из-за кафедры к аудитории, то есть ко мне, студенту, чем тот, что был в школе.

Первые же лекции по древнерусской литературе, языкознанию, античной литературе, фонетике просто поразили меня глубиной и объёмом тем, значений и смыслов. Я с упоением отдался учёбе. Поразительно, но то, что я изучал на первом курсе, запомнилось, врезалось в память и сохранилось в ней, уцелело намного лучше, чем то, что изучалось мною на третьем и четвёртом курсах университета. И уж тем более на пятом.

Я не пропускал ничего из учебной программы. А вот мои новые знакомые пропускали практически всё. Древнерусская литература, как они говорили, им была уже не нужна. Они сообщали об этом так, будто знают её глубоко и давно. Фонетика и языкознание было для них чем-то вроде букваря. Античную литературу они игнорировали, потому что лектор им не нравился. Они считали его формально относящимся к делу карьеристом, который недостоин их внимания и недостоин права говорить о великом античном наследии.

Появлялись они только на лекциях по введению в литературоведение, которые читал спокойный, ироничный и симпатичнейший преподаватель по фамилии Дарвин. Во время его лекций они часто, как знатоки, переглядывались друг с другом, постоянно что-то комментировали и даже хихикали. Для них эти лекции явно были слишком просты. Элементарны. Они уже прочитали работы Бахтина и Лотмана. Они были выше уровня тех лекций. Они приходили на них, только чтобы потешить своё самолюбие и убедиться в своей элитарности.

А я на лекциях по литературоведению почувствовал первый в жизни глоток, который ждала моя жажда знаний о том, как и каким образом устроено, живёт и работает произведение искусства. Я впервые услышал ответы на терзавшие меня вопросы, и их у меня сразу же возникло ещё больше.

На первом же занятии по теории литературы в качестве наглядного примера нам был предложен анализ стихотворения Лермонтова «Парус», того самого, что я учил наизусть в шестом классе. С этим стихотворением было связано столько школьной тоски и скуки! На этот белеющий на фоне моря парус за школьные годы было навешано столько тяжеловесных штампов! Он был и символом свободы и одиночества, и жажды чего-то прекрасного, и много чего ещё. Этот парус набил оскомину и мозоль. Он раздражал.

И тут вдруг давно заученное стихотворение, затёртый и истрёпанный по поводу и без повода «Парус» удивительным образом оказался невероятно сложно устроенным и тонко сшитым произведением. А потом в процессе разбора его деталей и анализа прямо у нас на глазах, в университетской аудитории, в устах преподавателя короткое стихотворение превратилось сначала в совершенный кристалл безупречной чистоты, а потом в уникальный бриллиант гениальной, сложнейшей огранки. «Парус» заиграл, засверкал всеми гранями, но ещё и поразили своей глубиной и ясностью.

У меня дух захватило от восторга. Я немедленно захотел подвергнуть такому же анализу все мои самые любимые стихотворения, а потом и прозу. Мне захотелось разобрать, препарировать, проанализировать всю известную мне литературу.

На третьем или четвёртом практическом занятии по введению в литературоведение наш очаровательный Дарвин предложил выбрать какие-то нам интересные литературные произведения для совместного анализа. Я тут же вскочил и сказал, что знаю, какой именно текст хочу проанализировать, и что всем он тоже будет интересен.

– Какой же? – улыбнувшись одними глазами, спросил Дарвин. – Весьма любопытно! Вы, надеюсь, понимаете, что произведение не может быть объёмным, мы ограничены во времени и... И ещё оно должно иметь бесспорные художественные достоинства. Лучше обратиться к классике. Это надёжнее всего.

– «Неточка Незванова»! – выдохнул я радостно. – Достоевский! Очень хорошее и небольшое...

У Дарвина поднялась одна бровь, он таинственно улыбнулся, опустил глаза, подумал и снова поднял взгляд на меня.

– Хорошая повесть, – улыбаясь непонятной мне улыбкой, сказал он. – Прекрасная... Но, поверьте мне, она огромная... Курсе на третьем постарайтесь вспомнить своё предложение... Тогда вы поймёте. – Он коротко задумался и улыбнулся ещё таинственнее. – На эту повесть можно потратить всю жизнь. Просто поверьте на слово... Давайте лучше я предложу... Ну-ка кто сможет продолжить?... Ночевала тучка золотая... Ну?

– На груди утёса великана, – растерянно продолжил я, думая об услышанном.

Я со всем возможным рвением и упоением готовился ко всем занятиям, старался читать всё, что было рекомендовано, сердился на себя, если не успевал хоть что-то прочесть. Я почти прописался в читальном зале университетской библиотеки. После школьной лени и скуки всё во мне вскипело, всё ожило, всё с жадностью впитывало новые знания. Я не сомневался в нужности получаемого на лекциях и из книг. Родители не скрывали удивления, наблюдая за мной, сосредоточенным и увлечённым. А я утомлял их тем, что при любой возможности пытался рассказать им о своих открытиях, поведать, сообщить, объяснить то, что узнал в самом начале своего филологического пути.

О пантомиме я не вспоминал вовсе. Упражнения, тренировки пальцев, растяжки и работу над идеальной осанкой тоже позабыл. Позабыл как что-то необязательное и ненужное.

В новую свою компанию удавалось вырываться реже. Но я всё же находил время для встреч с моими длинноволосыми, бледными приятелями. Я не хотел рвать с элитой. Очарование их мирка и общества ещё не померкло. Но мне определённо стало с ними скучновато.

А ещё я перестал быть с ними во всём согласен. До открытой полемики не доходило, но внутренний спор со многими их утверждениями во мне уже начался. К тому же мне не нравилось, что мои сокурсники из той компании стали подшучивать надо мной по поводу моего рьяного отношения к учёбе. Меня это задевало, но не критично.

Интеллектуальный шарм и флёр тех вечеров, особые темы разговоров и ощущение приобщённости к важным культурным процессам, которые происходили в Москве и Питере, возможность пользоваться свежими их плодами и даже быть их частью крепко держали меня в том обществе.

Никто из тех элитарных моих сокурсников в итоге не отучится и года. Они не захотят и не смогут, как все остальные, в основном девочки из шахтёрских городков и посёлков, готовиться к экзаменам и зачётам, сдавать в срок сессию. Преподаватели быстро поймут их высокомерное отношение к себе и своим предметам. Они расстанутся с этими интеллектуалами без сожаления, если даже не с облегчением.

Я тоже с ними расстанусь, когда пойму, что их надменный взгляд на то, что мне интересно и важно в учебном процессе, на всё почти, что мне дорого в искусстве, меня обижает и оскорбляет.

Уходя из той компании, я громко хлопну дверью и заявлю перед уходом что-то обличающее и что-то насчёт того, что Герман Гессе – напроочь устаревшая муть и заумь, которая интересна только таким, как те, кто над ним трясётся, таким вот заумным отщепенцам, бездельникам и словоблудам. Вслед мне прозвучит дружный, громкий, вполне искренний и тем самым ещё более обжигающе-обидный смех.

Это теперь я понимаю, что мне посчастливилось пообщаться и сдружиться с последними хиппи уходящей эпохи, которая не ощущалась уходящей, а, наоборот, казалась бесконечной. Это были особые хиппи, уникальные сибирские битники, которые сами себе выдумали особый образ жизни, интересы и философию, будучи уверенными, что попросту точно восприняли и усвоили истинные идеи битничества и хиппизма.

В них фантастически преломилось всё: и музыка, и литература, и прочие месседжи их кумиров. Убеждён, что Фрэнк Заппа был бы страшно удивлён теми смыслами, которыми надеялись и освящали его музыкальные шалости кемеровские его апологеты. Уверен, что у Фрэнка не было более преданных поклонников, чем сибирские интеллектуалы.

Я вспоминаю их теперь с теплотой. При всей их абсолютной и сущностной бесплодности, лени и полной неспособности слушать и слышать современность они всё же были яркими. У них была своеобразная романтика и бесспорная стойкость.

Их невозможно было соблазнить или заставить делать карьеру, жить нормальной социальной жизнью и вообще делать хоть что-то, пусть даже за значительные деньги. Они, конечно, не голодали. Но, думаю, и реальный голод не заставил бы их работать. Сдохли бы тихонечко в обнимку с книгой Пруста или Музиля, докуривая последний косяк плохой сибирской марихуаны, но палец о палец не ударили бы ради пропитания. Где-то они теперь?..

Я благодарен им ещё и за то, что моё знакомство с ними, очарование, а потом бегство из их компании случились вовремя. Очень вовремя! Как своевременная, пусть и болезненная прививка. В данном случае прививка от жажды и стремления к элитарности. С тех пор я шараялся от любых закрытых обществ, братств и цехов. Про секты даже не говорю.

После того как я расстался с той компанией, меня уже ничего не отвлекало от учёбы. Я был ею поглощён полностью и целиком. Я стал посещать научные семинары, где мне было трудно что-либо понять, потому что то была территория зрелых литературоведческих интересов старшекурсников и аспирантов.

Я не поднимал головы от книг, конспектов, учебников. Латынь – и та меня радовала своим завораживающим академизмом.

Так бы оно и шло, так бы оно и продолжалось, если бы однажды холодным осенним вечером, которым сыпал первый снег за окном, мама не заглянула ко мне в комнату, где я при свете настольной лампы с сомнамбулическим наслаждением читал «Медею» Еврипида.

– Сынок, – сказала мама, – отвлечись на минутку. На следующей неделе в среду у нас в институте будет набор в студию пантомимы... Объявление видела вчера, но забыла тебе сказать. Это тебе ещё интересно?

Я не сразу до конца сообразил, что услышал. Могучая трагедия Еврипида не позволила моментально переключиться.

– В среду? – скорее из вежливости спросил я. – А во сколько?

– В девятнадцать часов, – ответила мама.

– В девятнадцать?.. Наверное, не смогу. У нас по средам научный семинар. Но спасибо!..

– Я подумала, тебе будет интересно... Дело твоё. Я должна была тебе сказать...

– Да-да... Спасибо, мама, – сказал я и продолжил читать буквы, но уже не складывая их в слова.

Я услышал, как мама закрыла за собой дверь. Мои глаза оторвались от книги. Я установился в тёмное окно с летящим за ним по диагонали быстрым снегом. Посидел так секунду или минуту... А потом сердце сжалось, все внутри похолодело и опустилось в ноги, как от вида жуткой высоты или разверзшейся пропасти. В голове же при этом прозвучало: «Пантомима! Не может быть!.. В среду. В девятнадцать часов... У мамы в институте... В Кемерово... Быть не может!»

Не могу представить, как бы всё обернулось в моей жизни, чем бы я теперь жил, что делал бы, где и с кем... Если бы мама не увидела того объявления, или увидела, но забыла бы о нём, или, наоборот, сознательно решила мне о нём не сообщать, дабы не отвлекать от учёбы... Страшно подумать!

Институт, в котором мама преподавала страшные для моего слуха и сознания дисциплины – теплотехнику и термодинамику, находился в те времена на окраине города. Почти за городской чертой. Он стоял в темноте и за пределами света, которым ночью город освещает свои улицы и дворы. Потом уже город вырос и сначала обнял здание и территорию института, а потом и поглотил его своей растущей плотью. Но тогда это учебное заведение стояло на отшибе и к нему от границы светящихся окнами домов вела едва освещённая, а частенько совсем тёмная дорога. Когда выпадал и ложился снег, дорога та превращалась в скользкую тропу, а весной в некую болотную трясину, поверх которой периодически бросали узкие дощатые тротуары. На окраине ветер гулял почти свободно. Улицы Кемерово, как и всех новых сибирских городов, широки, расстояния между домами на их окраинах щедры, деревья редки и худосочны. Ветрам было где разгуляться. А за городской чертой дуло так, что люди шли в мамин институт против ветра чуть ли не под углом в 45 градусов или сбивались с тропы под особо сильными боковыми порывами.

Я не любил тот институт. Здание его было отвратительно некрасиво, да ещё и плохо построено. Ходили слухи, что проект этого здания был разработан для юга, а его построили в Сибири. В пользу такой версии говорили несуразно большие окна, которые никак не соответствовали лютой зиме. Эти окна с приходом холодов замерзали, покрывались белым инеем и слепли.

Мне доводилось бывать у мамы на работе, и мне не нравилась общая атмосфера, которая там царила. В мамин институт готовили кадры для пищевой промышленности. Он так и назывался: Технологический институт пищевой промышленности. В нём учились будущие холодильщики, технологи мясной и молочной продукции, заведующие разными пищевыми производствами и даже директора столовых, ресторанов и прочих ужасов тогдашнего общественного питания.

Разумеется, студенты, жаждущие получить все эти профессии, были не такими, какие учились в университете на историческом или математическом факультетах, не такими, как весёлые и циничные студенты-медики, и даже не такими отчаянными, как будущие инженеры разных шахтёрских специальностей, которых готовил кузбасский политех.

Студенты-пищевики были какие-то изначально взрослые, конкретные и не студенческие. Никакое студенческое творчество не могло зародиться и произрасти в стенах мамин института. Почему же студия пантомимы появилась в нём, для меня остаётся загадкой до сих пор. Возможно, в те времена существовали нормативы, по которым в каждом учебном заведении должны были существовать хоть какие-то творческие коллективы, вот руководство института и решило завести себе столь экзотическую студию. Кто знает... Но то, что студия пантомимы возникла именно в мамин скучном институте, стоящем практически за городской чертой, во многом и многое определило.

Но это мне стало ясно потом, а тогда сообщённая мамой новость меня просто ошеломила. Как могла появиться чудесная, таинственная, недостижимая и очень нездешняя пантомима в скучном, мрачном и холодном институте пищевой промышленности?!

Мама меня удивила в пятницу, а набор в студию был объявлен на среду. К вечеру воскресенья я уже с большим трудом мог сосредоточиться на чтении учебника исторического языкознания. Весь понедельник и вторник на лекциях я ловил себя на том, что не слушаю, а рассеянно думаю о том, что мне предстоит в среду. Я усиленно старался не думать об этом, но получалось слабо.

Несколько раз я просил маму подробно мне пересказать, что было написано в том самом объявлении. Нужно ли к 19 часам в среду что-то подготовить, в смысле как-то продемонстрировать свои физические и артистические способности? Может быть, нужно что-то с собой иметь? Может быть, нужна какая-то специальная одежда или обувь? Но мама ничего такого не могла вспомнить и всякий раз, будучи на работе, забывала то объявление перечитать.

Во вторник после занятий я, вместо того чтобы пойти в библиотеку, поехал в мамин институт с одной только целью – прочитать объявление лично. От конечной остановки троллейбуса мне пришлось долго идти по осенней, холодной слякоти, на островках которой лежал не тающий уже снежок.

В холле на скучной доске объявлений, мимо которой местные студенты проходили не оглядываясь, среди объявлений о сдаче донорской крови, среди графиков каких-то дежурств и тому подобного, я не сразу нашёл листочек, на котором от руки синим фломастером было написано: «Такого-то числа (число соответствовало среде) в 19 часов в балетном зале, аудитория № (такая-то), состоится конкурсный набор в студию пантомимы. Приглашаются все желающие».

Слова «конкурсный» и «пантомима» были подчёркнуты красным. Объявление было маленькое, неприметное, написанное неуверенно и коряво. Но сердце моё бешено заколотилось. Особенно от слова «конкурсный».

Это слово предполагало, что в студию пантомимы ожидается много желающих, но количество тех, кто сможет быть в неё принят, ограничено. То есть будет конкуренция и каким-то образом претенденты должны будут доказать своё право быть зачисленными.

Однако в объявлении больше ничего не сообщалось. Что будет за конкурс, что для него нужно подготовить или что с собой необходимо иметь – ни слова. Так что то, что нужно будет сделать, чтобы доказать своё право на попадание в студию пантомимы, для меня осталось загадкой. Тайной!

Полностью озадаченный и взволнованный, я пошёл из пищевого института домой. Мы жили не очень далеко, у самой окраины, но всё же в городской черте. Шёл я, погруженный в размышления, практически не разбирая дороги, хотя обычно старался ходить осторожно, чтобы не заляпать обувь. Дорога была сплошной грязью.

Как часто я думал в те времена: «Бедная мама! Как она ходит по этой дороге? Как умудряется она по ней ходить на каблучках? Как ей трудно! Как невесело, грустно, страшно зимними крошечными утрами и вечерами ходить ей на работу и с работы. Ужасная, унижительная, тоскливая дорога!»

Весь вечер накануне заветной среды я повторял упражнения из книжки И. Рутберга, разминал пальцы и гадал, гадал, гадал... Что же меня могут попросить сделать? И что сам могу показать?

Я вспомнил, как артистично умел падать в снег, изображая убитого, но подумал, что вряд ли это пригодится. Вспомнил, что веселил одноклассников рожам и кривляньем, довольно ловко мог изобразить разных калек: хромых, паралитиков, а также припадки и конвульсии. Вспомнил и сразу решил забыть... А больше я ничего такого не умел. Такого, что могло бы показать мои физические и пластические возможности. Ну и артистические в том числе.

Волнуясь, я гнал от себя мысль, что, возможно, придётся читать стихотворение или басню. Я твёрдо решил, что если потребуют, то встану и уйду. Я терпеть не мог выразительно читать стихи, и мне было мучительно неудобно слушать то, как свои стихи читают поэты. Я испытывал в этот момент жуткую неловкость за самих поэтов, как будто мне приходится наблюдать за человеком, который делает что-то нелепое и постыдное. Особенно сильную неловкость вызывали у меня телевизионные выступления А. Вознесенского и Б. Ахмадулиной. Даже один на один с телевизором я испытывал за них неловкость. Зачем они это делают так, думал я. Стихи были прекрасны, восхитительны. Зачем они так тянут звуки, зачем завывают, зачем придают чудесным сочетаниям слов такие нечеловеческие интонации? Зачем убивают собственные стихи и смыслы? Я сам глазами читал их стихи куда лучше. Во мне они звучали ясно и прекрасно... Хорошо, что тогда я ещё не слышал Бродского и прочёл его раньше, чем увидел и услышал.

Но самой большой загадкой и тайной, волновавшей меня накануне той среды, было вот что: а кто там в студии пантомимы будет проводить конкурсный набор? Кто будут эти люди? Неужели в Кемерово есть те, кто такое может сделать и потом пантомиму преподавать? Будет ли это некая комиссия из пантомимических специалистов и артистов? Или это будет какой-то один человек?..

А ещё меня очень интересовало, кто будут те люди, которые так же, как я, хотят пантомимой заниматься, знают, что это такое, и прочли то самое крошечное объявление в стоящем за городской чертой институте.

Мне грезились в качестве первых некие знакомы И. Рутберга, этакие тонкие, стройные пожилые люди с великолепной осанкой и балетной походкой. Таких я видел в кино про аристократов. В качестве вторых я представлял себе высоких длинноногих и длинношеих юношей и девушек, очень грациозных и гибких.

Так фантазировал я и тут же задавал себе вопрос: а откуда они все могут взяться в Кемеровском институте пищевой промышленности?

Я не помню, как прожил ту среду до вечера. Помню только, что тщательно продумал и подобрал одежду, в которой отправился на конкурсный набор в студию пантомимы. Я всегда, точнее, лет с четырнадцати был сильно недоволен своей фигурой, завидовал тонконогим и длинноногим сверстникам. Поэтому оделся во всё темное и, на мой взгляд, стройнящее. Начистил ботинки, почистил щёткой пальто, долго решал, в какой шапке пойти. А шапок было две. В итоге пошёл без шапки.

За секунду до моего выхода в прихожую выглянула мама.

– Ну что? Пошёл? – спросила она.

Я кивнул и буркнул что-то вроде, мол, да.

– Удачи, – спокойно сказала она.

Я снова кивнул, открыл дверь и шагнул за неё.

– Ты что, без шапки?! – успела негромко крикнуть мама, но я уже закрывал дверь.

То, как я шёл в студию пантомимы в первый раз, я запомнил отчётливо. Это был путь не в мамин институт, а именно на пантомиму.

Я пройду по той дороге множество раз, и это всегда будет для меня дорога в студию, а не в какой-то институт пищевой промышленности. С тех пор я никогда больше не думал про ту дорогу как про тоскливую, плохую и страшную.

Я шёл. В тот день к вечеру здорово приморозило и слякоть с грязью прихватило. Дорога стала скользкая, вся в коварных ямках, застывших лужах и шишках мёрзлой грязи. Но при этом совсем не пачкающая. Воздух стал студёный и почти неподвижный. Руки моментально замёрзли, я сунул их в карманы пальто и сжал там в кулаки. Однако шёл я не горбясь и не стал запахивать лёгкое своё пальтецо.

Со мной происходило нечто подобное тому, что я чувствовал в Томске, когда шёл на спектакль «Шляпа волшебника». Я ощутил, что со мной происходит что-то непостижимо важное и значительное, грядёт то, что будет иметь огромное значение для всей моей жизни.

Мне не было страшно, мне было волнительно. И во всём происходящем звенела странная торжественность. Торжественность, свойственная переломным событиям.

Когда я почти дошёл, совсем стемнело. Наступила холодная, осенняя сибирская тьма. Границы города с фонарями и окнами остались за спиной, и мне открылось ясное звёздное небо, которое нависло над уродливым зданием института. Здание это бледно светилось простуженным светом редких, ещё не погасших окон. Я взбежал на крыльцо легко и со всей возможной грацией.

Часы над входом показывали без четверти семь. Фойе института и его длинные коридоры были совершенно безлюдны. Гардероб стоял закрытый. В это время в моём университете ещё кипела жизнь. А тут... Тут казалось, что внутри холоднее, чем на улице.

Я постоял немного, подождал, пока появится кто-нибудь из местных обитателей. Я забыл узнать у мамы, где находится балетный зал. Первым из коридора на выход прошёл молодой толстый мужчина. Я извинился, поздоровался, он приостановился, и я спросил его про местоположение балетного зала. На мой вопрос он ответил тягучим «Чего-о-о-?», усмехнулся и ушёл. Потом я спросил двух весёлых, румяных старшекурсниц. Они переглянулись, засмеялись и сказали, что у них тут нет такого. Примерно так же мне ответили ещё несколько человек. Стало ясно, что балетный зал не пользуется в пищевом институте популярностью.

Объявления на доске уже не было, а номер помещения я не запомнил. Я уже решил пуститься в поиски и рыскать по всем этажам и корпусам, как появилась старенькая техничка¹ и объяснила мне, как пройти.

Поднимаясь по указанной лестнице, я озадаченно думал о том, что не увидел в фойе многочисленных желающих пройти конкурсный отбор в студию пантомимы. Точнее, я не увидел ни одного желающего. Все, кого я встретил, спешили на выход.

На втором этаже главного корпуса свет был погашен. Налево уходил коридор, в котором тускло светили бледные лампы. Я прошёл по нему до конца.

Коридор заканчивался открытой дверью, ведущей в довольно большое и неожиданно ярко освещённое помещение. Я зашёл в него без пяти минут семь.

Это был обычный зал для занятий танцами. Я прежде в таких не бывал, но видел подобные в кино и каких-то передачах про балет. Одна его стена была полностью зеркальная, вдоль неё на высоте моей груди тянулся деревянный поручень, то есть балетный станок, только я тогда ещё не знал, что он так называется. Напротив зеркальной стены находилось большое сплошное от пола до потолка окно, которое тоже в тот момент представляло собой зеркало, потому что за ним густела непроглядная тьма. У дальней стены стоял покрытый серой тканью рояль.

В балетном зале ещё я увидел низенькие скамейки, стоявшие вдоль окна, и несколько стульев. На всём этом сидело человек десять. Точнее, все они были женщинами разного возраста. В основном молодыми, но всё же определённо старше меня. Они сидели молча. Кто-то был в наброшенных на плечи пальто или куртках. Кто-то держал верхнюю одежду на коленях.

Только одна была в тонком светлом свитере с глухим горлом, широких брюках и мягких светлых ботинках без каблука. Стул, на котором она сидела, стоял посреди зала строго напротив входа.

Взгляды всех были устремлены на меня. Очевидно, мои шаги слышались издалека, они гудко звучали, отскакивая от скучных и блёклых стен коридора, пока я по нему шёл. Я остановился в дверях, не решаясь шагнуть внутрь под столь пристальными взглядами.

¹ Уборщица в госучреждениях (устаревшее). – Прим. автора.

Внимательнее всех и даже строго на меня смотрела та самая женщина, что сидела на стуле напротив входа. У неё была очень маленькая голова, туго собранные светлые волосы, маленькое лицо, и вся она была тоненькая и маленькая. Большими у неё были только очки с минусовыми стёклами близорукого человека. От этого глаза её казались совсем маленькими и по-настоящему строгими.

Одного взгляда было достаточно, чтобы понять: весь конкурсный набор, вся студия и вся кемеровская пантомима – это именно вот эта маленькая строгая женщина.

– Здравствуйте, – нарушил тишину я.

– Здравствуйте, – сказала маленькая женщина в очках и посмотрела на часы. – Проходите, садитесь. Можете не раздеваться, тут прохладно.

Я прошёл и сел на ближайшую низенькую скамейку. Снова воцарилась тишина. Мне неудобно было разглядывать присутствующих, так что сидел я смирно. Прошла минута, может быть, две. Тогда я встал, снял пальто и снова сел. Я не чувствовал ни холода и вообще температуры. Прошла ещё минута. Женщина в очках вдруг приподняла левую руку, глянула на часы и тихонько хлопнула ладонью по коленке.

– Ну всё, – сказала она спокойно, бодро и почти весело, – все, кто хотел прийти, пришли. Пожалуй, начнём...

Вся её строгость исчезла, она заулыбалась. В ней не было видно ни капли уныния или разочарования тем, что пришло совсем мало людей. Она выглядела совершенно довольной.

– Итак, – продолжила она, оглядев всех внимательно сквозь толстые очки. – Меня зовут...

В это время в коридоре послышались гулкие шаги, все, и я в том числе, повернулись к открытой двери. Шаги приближались. Они звучали почти грозно. Вслед за шагами в помещение робко вошёл взъерошенный мужчина. Он был в очках, которые принято называть роговыми, только они были из какой-то коричневой пластмассы и сидели на лице вошедшего криво и нелепо. Всё в нём было нелепо. Мятый коричневый пиджак был ему узок в плечах и короток везде. Комканные брюки, наоборот, были везде велики. Рубашку он застегнул на все пуговицы до самой верхней, и она его явно душила. Ботинки его были нечищены никогда. Портфель в руке был куплен явно в школьные годы.

– Простите, – сказал он. – Я опоздал?

– Самую малость, – ответила женщина в очках. – Проходите.

– Спасибо! – кивнул он. – А тут, если я не ошибаюсь, набирают на панто... Простите! – Он открыл портфель, поковырялся в нём, достал какую-то бумажку или, как говорила моя бабушка, листик, уставился в него и прочёл: – ...на пантомиму. – При этом он сделал ударение на «о».

– Да, да! – ответила маленькая женщина. – Проходите, садитесь.

Он прошёл и сел рядом со мной. А она сделала шаг навстречу к нам.

– Итак, – сказала она снова, – меня зовут Татьяна Александровна. Именно таким образом следует ко мне обращаться. Я педагог... Преподаватель сценического движения и фехтования Кемеровского государственного института культуры. В том числе я преподаю и пантомиму студентам Института культуры. Но для них пантомима – это только небольшая часть их образования. На это сложное и удивительное искусство выделяется в программе актёрско-режиссёрского факультета совсем немного часов. Эту студию я решила открыть для углубленного и целенаправленного обучения именно и только пантомиме. Искусство это трудное. И требующее... Кстати, а кто из вас знает, что такое пантомима?

Я хотел сказать, что имею представление о том, что это такое, но не был уверен в себе. Мне очень понравилось, как эта Татьяна Александровна говорила, как произносила слова «пантомима», «сценодвижение», «искусство». Жесты её были выразительны и чётки, поворот головы плавен. При этом она была очень хрупкой... А точнее сказать – худой. Со спины, если

бы не волосы, её запросто можно было бы принять за тощего мальчика, лет двенадцати. Но в ней чувствовалась сила и уверенные знания того, о чём она говорит и для чего нас пригласила в это странное место, в этот балетный зал, который совершенно не сочетался с тем зданием, в котором находился.

– Ну? – после паузы спросила она. – Что, никто совсем ничего не знает про пантомиму?

– Пантомима, – зачем-то сначала по-школьному, подняв руку, сказала полная, сильно напомаженная женщина непонятного тогдашнему мне возраста. – Это... Особенности движения, под музыку... Это умение изобразить несуществующую стену... Изобразить руками, как будто стена есть. – Она сделала несколько движений руками, но застеснялась, моментально покраснела и оглянулась на нас. – Я в Ялте на набережной видела такое выступление... Мне очень понравилось... Извините.

– Не надо извиняться. Не за что, – радостно сказала Татьяна Александровна. – Вы прекрасно всё сказали и объяснили. Кто видел что-то подобное?.. Подобные выступления? Возможно, по телевизору?

Все подняли руки.

– Замечательно! – сказала Татьяна Александровна, повернулась, шагнула к стулу и в быстром изящном повороте села на него. Это движение было восхитительно! Оно было неумовным и особенным. В нём видно было мастерство.

– Итак, – ещё раз обведя нас взглядом, сказала она. – Я вам представилась. А теперь прошу вас каждого встать, сказать, как вас зовут, чем вы занимаетесь и, если хотите и можете, сообщить, с какой целью вы сюда пришли. Начнём с вас, – закончила она и, совершив плавное движение рукой, указала на даму, которая видела пантомиму в Ялте. Она так повела рукой и кистью, что на миг показалось, что пальцы её превратились в веер.

Дама встала, отложила в сторону куртку, сумочку и сказала свои имя, фамилию, а также сообщила, что работает в Технологическом институте пищевой промышленности в сфере снабжения. Татьяна выслушала её и попросила ненадолго задержаться после того, как всё закончится.

Я не помню ни её имени, ни фамилии. Больше мне не довелось её увидеть. Она впоследствии ни разу снова не появилась в балетном зале.

Всех остальных я тоже уже не помню. Память не удержала их имён и лиц. Кроме первой дамы остальные оказались студентами разных курсов и факультетов пищевого института. С кем-то из них мы прозанимались в той студии довольно долго, несколько месяцев, кто-то исчез вскоре. Все они были хорошие, весёлые, но пантомима случилась в их жизни как маленькое приключение, и не более того.

Мужчину во всём мятном я запомнил. Его звали Саша. И он оказался старшим преподавателем высшей математики. Мне мало встретилось людей в жизни столь упорных, упрямых и старательных, как он. Но более нелепого я не встречал никогда. А также более идиотически оптимистичного. Он мучил себя пантомимой до весны.

Мне теперь непонятно, почему я отчётливо запомнил все детали того осеннего вечера, но совсем не удержал в памяти людей, пришедших тогда вместе со мной в студию. Память сама за меня решила, что важно, а что нет.

Татьяна Александровна обратила на меня свой взгляд последним из всех. Я встал и сказал, что меня зовут так-то и так-то, что я студент госуниверситета, учусь на первом курсе филологического факультета и что мне семнадцать лет.

На слове «университет» Татьяна (так я в дальнейшем буду её называть, так мы её звали между собой, но обращались к ней всегда только по имени-отчеству) едва заметно вздрогнула и не смогла скрыть своего удивления. Она даже напряглась. И стала снова строгой.

– А что вы, юноша, знаете о пантомиме? – спросила она меня.

– Не много... – ответил я, решив выглядеть как можно более скромно. – Я только читал книгу И. Рутберга о пантомиме и прошлой зимой в Томске видел спектакль «Шляпа волшебника» в томском Доме учёных.

– И это всё? – прозвучал вопрос.

– Да, – был мой ответ.

Я удивился этому вопросу. По сравнению с остальными, которые не знали ничего, я был, на мой взгляд, чуть ли не специалистом и уж точно не случайно пришедшим.

– И вам понравился тот спектакль? – колючим голосом спросила Татьяна.

– Да, – ответил я.

– Вы пришли сюда, потому что хотите делать то же самое, что видели в Томске? – ещё более колюче спросила она, прищулив глаза за большими очками.

Это был трудный вопрос. Я не знал, что на него ответить. Я сам себе ни разу его не задавал.

– Точно не знаю, – признался я. – Мне кажется, что пантомима – это очень интересно... И что у меня может получиться.

– Вот как?! – усмехнулась Татьяна. – Ну это будет очень скоро ясно, – сказав это, она обвела взглядом всех собравшихся и встала со стула.

Она встала быстро, с совершенно прямой спиной, не как обычный человек, который, для того чтобы встать, слегка наклоняется вперёд. Она встала, сделала странное движение плечами и вытянула вверх шею со строго наклонённой вперёд головой.

– Пантомима – это сложное сценическое искусство, – сказала она торжественно. – это искусство требует серьёзной и долгой, а главное, очень специфической физической подготовки. Пантомима требует дисциплины и усердия. Так что о весёлых кривляньях, о разных фокусах и трюках, а также о выступлениях на сцене думать пока слишком рано. Прежде чем начать мечтать о выступлениях, необходимо оснастить, научить своё тело быть выразительным, послушным и сценичным. Это очень трудное и кропотливое дело. Это много-много долгих, монотонных и даже болезненных занятий. Это борьба со своим телом. Так что веселья вам здесь не будет. Наоборот, будет сложно. А быстрых результатов в случае с пантомимой не бывает... Ой! – вдруг остановилась и усмехнулась она. – Что это вы приуныли?.. Не бойтесь! Фокусам и трюкам вы научитесь. Это как раз самое простое.

Сказав это, она вскинула руки, которые, как выяснилось, могли существовать удивительным образом, как бы отдельно от её остального тонкого-звонкого тела, но и независимо друг от друга.

Её руки исполнили волну, которая началась от кончиков пальцев правой руки, прокатилась до плеча, перешла в левое плечо, потом в руку и через пальцы улетела в воздух. Показалось, что у этой маленькой женщины нет костей в руках и даже в её маленьких пальцах нет фаланг.

Следом за этой волной она как бы поймала из воздуха обратную волну, которая прошла по её рукам в обратном направлении. Но только эта волна уже не была плавной, а, наоборот, была разбита на мелкие, последовательные движения и остановками меньше чем на миг. Так двигались куклы в плохих мультфильмах. Почудилось, что у Татьяны в руках много очень маленьких косточек и суставчиков.

А после этого она плеснула свои руки перед собой, и её ладони упёрлись в невидимый и недвижимый монолит. Я не раз видел, как люди изображали невидимую стену. Но тут эффект был абсолютно другого уровня. Казалось, что даже кожа её ладоней прилипла к прозрачной тверди идеальной плоскости.

Я был потрясён, заворожён и покорён. Несколькими движениями рук эта женщина показала мне мою странную и непонятную мечту. Тут я твёрдо мог сказать: «Я хочу так же».

– Эти фокусы – самое лёгкое, – бросив руки вниз, как отпущенные верёвки, сказала Татьяна. – После трудных занятий это делать легко. А для занятий вам понадобятся обтягивающие лосины, однотонные, желательно чёрного цвета. Колготки не годятся. Тут пол плохой, будете все в занозах, и на колготки не напасётесь. Верх для начала... Принесите маечки, футболочки, обтягивающие и не цветные. Если будете заниматься дольше, то будем думать о настоящей одежде. На ноги найдите чешки. Заниматься будем здесь. Три раза в неделю. Понедельник, среда, пятница. С девятнадцати до двадцати одного часа... Да! В студию приняты все.

Услышав это, я обрадовался, как будто сдал самый сложный экзамен, будто я прошёл тяжёлый отбор в отряд космонавтов. И хотя были приняты все, кто бы они ни были, и я был бы принят, даже если бы не сказал ни слова, всё равно. Я был счастлив! И во мне не было сомнений в том, что мне это нужно.

Меня не смутило то, что в студию пантомимы пришли поступать дамы и барышни совсем, на мой взгляд, для этого не годящиеся, меня не напугала проза коридоров Института пищевой промышленности и убожество холодного балетного класса с ужасным дощатым полом, в сплошных щелях и занозах. Я будто всего этого не заметил, хотя был разборчив, да ещё и брезглив.

Слово «призвание» ещё не было мне понятно. Оно было затёрто и заштамповано, оно было связано со скучной героикой уроков истории или употреблялось в связи с жизнью и судьбой поэтов и композиторов, которые сызмальства, чуть ли не с младенчества, кропали стишки или сочиняли музыку и играли на всём подряд, ещё не научившись говорить. Знаменитым спортсменам так же приписывали призвание к спорту и спортивной судьбе. Но в себе я не видел никаких признаков призвания.

Ох не скоро, спустя годы, я догадался, что это оно, призвание, и было. Это оно заставило ликовать моё сердце тогда, когда меня приняли без всякого конкурса в студию пантомимы. Это призвание так терзало меня после спектакля в томском Доме учёных. Таинственное, неведомо откуда взявшееся во мне и до поры затаившееся призвание.

Когда я, не чувствуя под собой ног от счастья случившегося, шёл по скользкой дороге в сторону городских огней от института, меня окликнул женский голос:

– Юноша, подождите!

Я остановился, оглянулся и увидел, что меня догоняет Татьяна. Она была в светлом пальто и вязаной шапочке. Совсем маленькая, как школьница. Но совершенно незнакомая.

– Подождите, пожалуйста, – быстро подходя, сказала она. – Как вы узнали про набор в мою студию? В университете объявлений не было.

– Мне мама сказала, – ответил я, но этот ответ Татьяну явно не удовлетворил. – Моя мама работает здесь. – Я указал рукой на темневшее даже в темноте здание института. – Она преподаёт теплотехнику и термодинамику.

– А-а-а, вот оно что, – с явным облегчением, выдохнув белый пар, сказала Татьяна. – Пойдёмте, пойдёмте... Нечего тут стоять... Мама вам сказала. Это хорошо... – Она явно ещё что-то хотела спросить, но мы некоторое время шли молча.

– Да, мама сказала, – повторил я, чтобы что-то сказать. – Она знала, что я очень хочу заниматься пантомимой. Мы всю весну узнавали, интересовались, но в городе ни одной студии не было.

– Была одна, но давно, – задумчиво сказала она, продолжая быстро шагать рядом, и вдруг остановилась, я тоже. – Скажите, юноша, но только честно! Это очень важно. – Голос её стал предельно серьёзен. – Вас сегодня прийти ко мне в студию... Случайно... Не попросили в университетском театре? Вы не из театра «Встреча» ко мне пришли?

– Не-е-ет! – искренне и удивлённо ответил я. – Мне мама сказала...

– Я поняла, поняла, – сказала Татьяна торопливо, задумалась на мгновение, а потом пристально посмотрела мне в глаза: – Если вас будут в университете спрашивать про мою... про нашу студию, не говорите ничего, пожалуйста. Это для меня очень важно.

– Хорошо. Не буду, – сразу пообещал я, не понимая сути просьбы и не представляя, кто вообще меня в университете может о чём-то таком спросить.

– Вот и славно, – сказала Татьяна. – Давайте поспешим, а то холодно. Вы на автобус или троллейбус?

– Я тут рядышком живу. Вон там.

– Счастливчик! – усмехнулась она. В пятницу приходите. Чешки у вас есть?

– Найду. Постараюсь. Схожу в Детский мир. Давно не был в этом магазине.

– О! Да вы с юмором! – сказала она, махнула рукой и быстро побежала ловкими маленькими шажками в сторону остановки.

Меня, разумеется, озадачили такие вопросы. Я видел, какое волнение и тревогу вызвало у Татьяны одно только упоминание об университете, в котором, оказывается, есть какой-то театр «Встреча», но мне тогда было не до размышлений на эту тему.

Я шёл домой, вдыхая воздух полной грудью, не чувствуя его холода. Несмотря на всю внешнюю скромность произошедшего, я ощущал значительность этого события. Интересная, полная содержания и смысла жизнь открывалась передо мной. А главное, было ясно, что я смогу делать то, что действительно хочу, и то, что сам полностью самостоятельно решил.

– Ну что? Тебя можно поздравить? – с порога спросила мама.

– Да! Меня приняли, в пятницу первое занятие, – разуваясь, ответил я.

– Что ж, – мама слегка задумалась. – Любые занятия и навыки могут быть полезны. Но учти, своей пантомимой ты сможешь заниматься, только если она не будет мешать основной учёбе.

Мама это сказала так, как много раз говорила по разным поводам все мои школьные годы. Вот только услышал я это впервые иначе. Я в тот момент понял, что буду заниматься основной учёбой, если она не будет мешать заниматься пантомимой. Ещё я понял, что в данном, конкретном случае мама уже не вправе решать, что и как мне делать или не делать... Хотя, конечно, я маме ничего не сказал.

Весь четверг я рыскал по городу в поисках чешек. Объездил весь город, побывал и в Детском мире. Нигде не было. И только посетовав маме, я получил от неё ценный совет, благодаря которому нашёл белые чешки в женском отделе обувного магазина. Мой размер у женщин был не популярен.

Первое занятие в студии пантомимы более всего было похоже на урок физкультуры в школе. Мы много бегали по кругу, пока не запыхались и не разогрелись до такой степени, что более чем прохладный воздух балетного зала стал казаться жарой. Мы много приседали, делали наклоны, падали на пол и моментально вставали. То есть не делали ничего особенного.

Глобальная разница этого занятия от урока в школе заключалась в том, что Татьяна, в отличие от учителя физкультуры, внимательнейшим образом следила за каждым из нас, изучала, контролировала, как будто хотела каждому поставить некий медицинский диагноз.

Когда мы бегали, она строго требовала от нас правильного дыхания, когда приседали, следила, чтобы мы не отрывали пятки от пола, а когда нагибались, не сгибали ноги в коленях ни-ни. Каждую секунду мы должны были следить либо за осанкой, либо за точностью постановки ноги, либо за руками, и как только я начинал сосредоточенно контролировать спину или положение головы, как тут же всё остальное выходило из-под контроля.

Я с удивлением понимал, что совсем не умею просто бегать, думая о дыхании или о правильном отталкивании ноги от пола. Не умею приседать с прямой спиной... Вообще ничего не умею! Я просто всегда прежде бегал, прыгал или приседал так, как получается и как было

удобно. Я был не из последних в классе и во дворе в плане ловкости, скорости или силы. Камни так я вообще бросал дальше и точнее всех мне знакомых мальчишек.

А тут я удивлялся своей неуклюжести.

После долгих, активных упражнений, когда мы разогрелись так, что взмокли и от нас чуть ли не валил пар в холодном, пронизанном сквозняками помещении, Татьяна выстроила нас в линию и предложила сделать ряд совсем простых движений, например сжимать одну ладонь в кулак, а другую разжимать, направляя кисть в сторону сжатого кулака, а потом быстро разжать кулак и, в то же время, сжать раскрытую ладонь. В её исполнении это получалось так легко и просто. У меня же не выходило ничего. Поглаживать ладонью круговыми движениями живот одной, а другой похлопывать себя по голове, тоже не получалось.

Я изо всех сил старался мысленно добраться до своих пальцев, чтобы отдать им точный приказ для исполнения движений, но не мог прийти до каждого из них. А когда всё же мне удавалось установить контроль над одной рукой, то утрачивался контроль над другой и она начинала жить отдельно от моей воли.

Мой мозг напрягался так, что не хватало сил даже понимать, что видят глаза. Я напрягал все извилины, чтобы заглянуть внутрь и заставить непослушные члены подчиняться приказам.

– Если бы вы видели, какие у вас сейчас физиономии, – весело говорила Татьяна, когда мы трудились над выполнением очередного её задания. – Следите за выражением лица. Когда вы стараетесь что-то сделать руками, всё ваше напряжение уходит в лицо. Следите за ним.

И действительно, когда я услышал это, то сразу проверил своё лицо, заглянув в зеркало. Лицо было искажено. Губы завернулись в какой-то узел и побелели, а зубы были намертво сжаты. Так усиленно я искал контакта со своими пальцами левой руки, которые не слушались.

– Не смотрите в зеркало! Не отвлекайтесь! – крикнула Татьяна. – Проверяйте и помните, что у вас с лицом, не глядя в зеркало. На сцене зеркал не будет.

Татьяна, давая новые и новые задания, прекрасно знала, что мы испытываем, что ощущаем, что с нами происходит и о чём мы думаем. Это было поразительно! А я был обескуражен знанием, что совсем не знаю своего тела. Оно, прежде послушное, оказалось мне неизвестным и совершенно неподатливым. Моё сознание как будто отделилось от туловища и наблюдало за ним, неуклюжим, со стороны.

К концу занятия я был подавлен и сильно утомлён. Татьяна методично и последовательно разрушила цельность моего устройства. Продемонстрировала и доказала мне, что я совсем не владею своим телом и оно мне не принадлежит. Мне даже подумалось, что я не смогу прийти до дома по скользкой и тёмной дороге без её указаний и подсказок. Ноги попросту не слушаются.

– Наше первое занятие закончено, – сказала она без четверти девять нам усталым, растерянным, поникшим. – Сейчас вы почувствуете, что у вас ничего не получается и не получится. Вам кажется, что вы беспомощные.

Именно это мы и ощущали, стоя перед ней спиной к окну и разглядывая в зеркале себя, усталых, взмокших и помятых. К тому же мы все перепачкались, делая некоторые упражнения лежа или сидя на нечистом и занозистом полу. Одежда наша была вся в мелких щепках. Зрелище было жалкое и убогое.

Большинство девушек занимались в толстых шерстяных носках. Носки эти превратились в лохмотья. Мои беленькие, новенькие чешки испачкались. Я смотрел на свои ноги и вспоминал детский садик, когда в последний раз носил чешки и они всегда были потёртые и испаранные.

– Вам сейчас наверняка хочется отсюда поскорее сбежать и больше не возвращаться, – улыбаясь, продолжила Татьяна, – но это будет ошибкой! Если вы не вернётесь, то у вас останется ощущение собственного убожества и неуклюжести. А это неверно! Это несправедливое отношение к себе. – Она сделала паузу и на каждого бросила внимательный взгляд. – Целью

сегодняшнего занятия как раз и была демонстрация вам того, что вы очень плохо владеете своим телом, что тело вам не подчиняется и что вы его не знаете. Со следующего занятия мы начнём тело изучать. Изучать сначала по частям, а потом собирать его в одно целое. Целое, которое вы будете знать, любить и уметь им пользоваться. Мы будем работать над тем, чтобы связать ваше тело, состоящее из отдельных частей, одной-единой верёвкой. И чтобы указательный палец левой руки был связан с большим пальцем правой ноги, чтобы они друг друга слышали.

На этих словах она как будто поймала пальцами левой руки невидимую волну и пропустила по своему гуттаперчевому телу по диагонали в правую ногу, нога её совершила волнообразное движение и отпустила пойманный импульс куда-то в пол.

Я никогда не видел, чтобы люди такое могли делать. Брейк-данса тогда ещё не существовало, а про Майкла Джексона мы не слыхивали.

– Что-то вид у вас, прямо скажем, затрапезный, – улыбнувшись, сказала Татьяна. – Так не пойдёт. Да и в таком холоде, на таких сквозняках работать небезопасно. Так что, со следующего занятия у нас будут дежурства. Два человека должны будут приходить заранее и наводить порядок, а после занятий они же останутся и наведут порядок за нами. На понедельник назначаю... вас. – И она указала на двух румяных, толстопопых девушек, которые с готовностью кивнули. – А ещё на следующей неделе мы постараемся утеплить наше... это... пространство. С таким окном мы не перезимуем. Надо бы хорошенько его утеплить... Так... А теперь я с вами прощаюсь до понедельника. С понедельника у нас больше не будет занятий. То, что мы будем с вами делать, будет называться тренингами или репетициями, в зависимости от поставленных задач.

Утром вторника, после первого прошедшего в понедельник тренинга, у меня всё болело. Все мышцы. Каждое движение давалось через боль. Особенно больно было спускаться-подниматься по лестнице. Даже мышцы лица побаливали.

Тот тренинг я запомнил навсегда. И уверен, что запомнил не я один. Мне впервые пришлось так глубоко прогибаться, так широко расставлять ноги и так выворачивать руки. Сама же Татьяна, казалось, могла завязаться любым узлом.

Она была безжалостна и тверда. Никаких поблажек не было никому. В тот вечер пол нашего зала окропил не только пот, но и слёзы.

Труднее всех приходилось преподавателю высшей математики Александру. Он не гнул ни в одну сторону. Координация движений у него напрочь отсутствовала или была парадоксальной. Бегал и даже шагал он иноходью, то есть левая рука двигалась с левой ногой, а правая с правой. К тому же одевался он для тренингов комично. Были у него для пантомимы только растянутые до невозможности, особенно в коленях, штопанные спортивные штаны, которые он заправлял в несвежие носки. Маек-футболок у него, судя по всему, не было, поэтому занимался он в рубашках, в которых приходил с работы, то есть в которых работал. Рубахи эти он заправлял в свои треники, а чтобы они из штанов не вырывались, натягивал штаны до пупа. Очки свои он не снимал никогда.

Выглядело это всё жалко. Также жалок Александр был в своих попытках выполнить хоть какое-то задание, которое давала нам Татьяна.

Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что этому человеку не надо заниматься пантомимой. Его движения были так корявы и нелепы, что их невозможно было повторить. Сделать пародию на Александра не удалось бы никому. Даже актёрам, игравшим зомби в фильмах о зомби-апокалипсисах. Благо тогда мы этих фильмов не видели, а то непременно дали бы нашему высшему математику соответствующее прозвище. То, как он пытался совершать телодвижения, было даже не смешно. Это было патологично.

Вот только Татьяна, умный и опытный педагог, будто не замечала всего этого. Она старалась уделять Александру больше времени, чем любому другому студийцу. Она не могла не

видеть, что все её усилия совершенно бесполезны, но неумоимо занималась с Сашей, много с ним говорила, чаще, чем других, хвалила за одной ей понятные его достижения.

Я очень удивлялся этому. Нашего математика надо было попросить не приходить больше никогда после первого же занятия. Но он ходил и ходил. Был всегда всем доволен, оптимистичен и, очевидно, глядя в зеркало, видел не то же самое, что видели все остальные, глядя на него.

Мне непонятно было отношение Татьяны к человеку, категорически непригодному не только к пантомиме, но и к любому виду сценической деятельности. Она тетёшкалась с ним как с вундеркиндом. Это потом уже, через многие годы, я узнал, что настоящие педагоги частенько тратят самые большие усилия не на способных, талантливых, хватающих всё на лету и перспективных учеников, а на самых трудных, неспособных и даже убогих, ставя перед собой какие-то свои сугубо педагогические задачи, понимая, что перспективные и без них справятся.

Татьяна сразу же стала для меня абсолютным и незыблемым авторитетом, педагогом и учителем. Её компетентность не вызвала во мне ни тени сомнения. Я представления не имел, откуда, где и от кого она получила свои знания и навыки, но в том, что они глубоки и совершенны, я был уверен.

Книгу И. Рутберга я сразу забыл, будто и не читал. В том, как работала с нами Татьяна, чувствовалась продуманная система и метод. И если что-то было непонятно, надо было просто подождать. У Татьяны на всё был готов ответ и совет.

Зная, что пантомиме нигде тогда в стране не учили, я ни разу не посмел поинтересоваться, у кого она училась, а также, имея опыт поисков книг об искусстве пантомимы и удивившись, что в Кемерово таких книг нет, я ни разу не спросил Татьяну об источнике её знаний.

Тот метод, которым она с нами работала, был совершенно убедителен и эффективен. Меньше чем за месяц тренировок я узнал о своём теле, о мышцах, о дыхании, о вестибулярном аппарате и об анатомии в целом больше, чем за всю предыдущую жизнь. Хотя моя любимая бабушка всю сознательную и трудовую жизнь преподавала в школе биологию и анатомию.

Я быстро, точнее, моментально, убедился, что Татьяна не просто изнуряет нас сложными физическими упражнениями, болезненными растяжками и мучает задираньем ног на балетный станок. Она каждым заданием преследует определённую практическую цель. Всякое разученное и закреплённое движение вело к умению исполнить определённое сценическое образное действие.

Но самое главное, что было в работе той самой студии и на чём Татьяна постоянно настаивала, – это было серьёзное, благородное и глубокое отношение к тому, что мы делали, и к тому, как мы это делали. Возможно, она была слишком серьёзна и строга, но именно эта строгость и благородство были главным. Это меня покорило более всего.

Во время наших тренировок никогда не включалась музыка. Татьяна сказала всем девичкам, которые хотели заниматься под музыку, что пантомима – это не аэробика.

Справедливости ради, должен теперь признать, что все девчонки, которые прошли через студию пантомимы в Институте пищевой промышленности, конечно же хотели именно чего-то вроде аэробики. Им хотелось стройности, эффектности фигур и волшебства пластики. Всё это можно было в той или иной степени приобрести в процессе занятия пантомимой. Но девчонкам хотелось ещё и веселья. А вот веселья Татьяна не допускала.

Тех, кто пришли в день первого набора и продержались хотя бы полгода, было всего две. Остальные исчезли вскоре, но на их место приходили другие. Новеньким проходить самые первые азы Татьяна назначала помогать тех, кто занимался с основания студии. Бывало, что в нашем балетном зале на тренинг собиралось не более пяти человек. Но через какое-то время появлялись откуда ни возьмись новые девочки. Из медицинского, из Института культуры, из какого-то техникума... Появлялись и исчезали. Мужчинами были неизменно мы: высший

математик Саша и я. Ни одного желающего мужского рода заняться пантомимой в нашей студии во всём городе с осени до лета так и не нашлось.

Татьяна на удивление спокойно к этому относилась.

Первые барышни отвалили из студии даже не потому, что им было трудно и невесело. Они занимались рьяно. Они видели результаты у себя на талии. Они радовались обретаемой гибкости, но им нужно было что-то ещё. Что-то сугубо человеческое и понятное. Все они жили в общежитии, все приехали откуда-то из предместий и глубинки, все были пухленькие, приземистые, румяные и жизнелюбивые.

Им, наверное, хотелось мужского внимания в стенах самой студии, но, юный и фанатично жаждущий только пантомимы, я не мог им внимания предоставить, а Саша, даже если бы и попытался, то скорее всего вызвал бы нормальный, здоровый смех. К тому же неким мужским вниманием наши барышни за пределами студии не были обделены. Периодически кого-то из них после тренинга поджидал кавалер, а то и несколько сразу.

Так что мужское внимание было не главным для них в нашей студии. Им хотелось чего-то такого, что хоть чуть-чуть согрело бы холодную строгость наших тренингов. Им хотелось хоть как-то одомашнить балетный класс.

То, что они великолепно и умело утеплили окно, явно имея опыт полудеревенской жизни, и навели почти идеальную чистоту в балетном классе, им было недостаточно.

Недели через две с половиной существования студии девушки наши притащили с собой чайник, чашки, какой-то подносик, оранжевую в белую крапинку уютную сахарницу, ложечки, а также печенье, баранки и баночку засахарившегося мёда. Как какие-то запасливые и аккуратные полевые мыши в норе или белки в дупле, они мгновенно обустроили милый чайный уголок в дальней части зала за роялем. Их замысел был прост и невинен: иметь возможность до начала и после уборки помещения выпить чайку, а по окончании тренинга всем вместе немного почаёвничать.

Устроили они свою чайную до прихода Татьяны, ничего ей не сказали и хотели её порадовать после совместной работы. Но во время тренинга, когда он был в самом разгаре, наш учитель и лидер случайно обнаружила появившийся уют и признаки обживания нашей аскетичной студии.

– Тянем, тянем носочек. Не забываем о руках, – громко говорила Татьяна нам, распластанным на полу. – Вам не больно! Вы можете ещё лучше! Ну-ка ещё... – И вдруг её голос оборвался, возникла пауза и тишина. – А это что такое?... – вдруг прозвучало совершенно изменившимся тоном. – Встать!!! – практически прорычала она.

Мы повскакали с мест и уставились на неё, не узнав голоса. Прежде такой интонации она не демонстрировала. А Татьяна стояла возле рояля с той самой сахарницей в руке. Казалось, что она готова метнуть её кому-то в голову или в окно, если бы оно было открыто.

– Что это такое? А? – прошипела она. Её тонкие губы совершенно побелели. – Что за избу вы тут устроили? Что вы тут собрались делать? Чаи гонять и бабьи разговоры разговаривать? А потом кастрюли понатащите, борщ варить, котлеты жарить?... – Она испепелила всех взглядом. – Чтобы сегодня же ничего этого, – и она тряхнула сахарницей, – тут не было... Кто всё это сюда притащил, мне неинтересно! Но чтобы больше всей этой кухней тут даже не пахло. А то я вас знаю...

Никто не посмел ни то что возразить, но и попытаться оправдаться, как-то объяснить невинность и доброту своего замысла. Мы так и стояли. Все очень виноватые. А кто-то насупленно и обиженно.

– Ну, что стоите? – сказала Татьяна после паузы своим обычным голосом. – Сели на пятые точки и вспомнили, как выглядят морские звёзды на дне... Вспомнили? А теперь убедите меня, что вы и есть морские звёзды.

Окончив тренинг без четверти девять, Татьяна необычно быстро с нами попрощалась и ушла. Девочки разобрали по сумкам и пакетам всё принесённое, пошутукались, да и пошли восвояси печально. Никто не ворчал, не говорил про Татьяну за глаза ничего обидного.

На следующем тренинге мы не досчитались двух девчонок. Они передали Татьяне записку. Татьяна записку прочитала, сложила вчетверо, сунула в карман. По лицу её ничего невозможно было прочесть. Лицо никак не изменилось.

– Так! Повернулись налево и побежали по кругу. Не спешим, не спешим! Саша, умоляю! Мы бежим, а не хотим кого-то покалечить, – начала Татьяна свой очередной тренинг.

Ещё одна девочка ушла и не вернулась через месяц. Она была, пожалуй, самая стройная и изящная. Точнее, она была единственная стройная девочка из всех. И она явно была самая способная.

Ушла она после того, как по окончании очередного тренинга попросила всех задержаться ненадолго, достала коробочку с тортом, бутылку какого-то шипучего вина и сказала, что у неё день рождения. 20 лет.

Татьяна тогда выдержала паузу, поздравила девочку с юбилеем и строго сказала, что наша студия не банкетный зал и не столовая. Сказала, что если мы хотим праздновать, то должны найти какое-то другое место. Именинница заплакала и ушла. Девочки и Саша поспешили за ней утешать, я помялся и тоже ушёл. Татьяна осталась в балетном зале одна. Ту девочку я больше не видел никогда. Мне было очень жаль, что всё так получилось и что хорошая, способная девушка покинула нашу студию, но я и не думал сомневаться в правоте Татьяны. Мне просто было грустно, что всё вышло именно так.

Сейчас я понимаю, что в тех обстоятельствах, в том времени и в том деле, которое Татьяна делала, она была совершенно и даже категорически... права!

От скольких ошибок, от скольких бессмысленных шагов тем своим поступком и примером она меня уберегла!

Татьяна вообще была против, чтобы мы, студийцы, встречались и общались вне студии. Она старалась пресекать любую постороннюю болтовню внутри студии. Какие-то забавные истории, фотографии кошек и собак, домашние радости и анекдоты были недопустимы на территории, предназначенной для пантомимы. Возможно, ещё и поэтому я совсем не запомнил тех, с кем тогда занимался в том балетном классе. Я совсем ничего не знал о тех девочках. Откуда они, чем живут и как. А это тоже было, как выясняется, правильно!

Татьяна не раз говорила, что мы в нашей студии не друзья и не приятели. Мы – люди, которые пришли заниматься пантомимой, и ничего, кроме пантомимы, между нами нет и быть не может. Вот она и была против нашего общения в стенах и вне стен балетного класса.

Мне до сих пор невдомёк, зачем Татьяна так серьёзно и так внимательно занималась с каждой девицей, прекрасно понимая, что все они хотят либо похудеть, либо ходят из любопытства, либо потому, что считают столь экзотическое занятие делом модным, либо от скуки. Но она со всеми работала. Наверное, иначе она не умела и не могла.

Для неё, конечно, та студия была заработком. Каким-никаким, но заработком. Однако наша студия не была для неё формальностью и чем-то фиктивным. Она, очевидно, просто очень любила пантомиму. Она ей служила. Она была рыцарем этого дела. Хотя заработок ей был нужен. Как выяснилось позже, она воспитывала маленького сына.

Расставалась Татьяна со всеми без видимого сожаления, а встречала всех со сдержанной радостью.

Как-то, спустя годы, она сказала мне, что если бы Саша, наш нелепый математик, и я ушли, то она закрыла бы студию.

– Саша, конечно, был особенный, – улыбаясь вспоминала она, – вот если есть в мире человек более других неспособный к пантомиме, так это он. Он же, вспомни, какой корявый и деревянный пришёл, таким и остался. Зачем ему всё это было нужно, ума не приложу. Но

ему это было просто необходимо. Ты представить себе не можешь, как он мучился, как ему было больно, когда он пытался хоть как-то растянуть своё негнущееся тело. Я-то знаю. Я это понимаю. Он такое вытерпел! Но ходил. Упорно! Я бы всё сделала, чтобы ему хоть как-то помочь, чтобы у него хоть что-то получилось... Но нет! Он ни на что не был способен. Однако же как он старался! Я такого не встречала... – Она задумалась, улыбнулась и продолжила: – А все эти девки толстожопые... Ну что их было жалеть? Пришли – ушли. Не ушли бы раньше, ушли бы позже. На них в нашей работе делать ставку нельзя. Либо стержневой характер, либо появится ревнивый парень, либо забеременеет... А если талантливая, то всё это вместе... А вот если бы вы с Сашей ушли, то не было бы смысла сохранять студию. Только вам была нужна сама пантомима. Пантомима, и больше ничего.

Этот разговор состоялся тогда, когда я добился уже самостоятельных успехов в пантомиме. Меня тогда удивило то, что Татьяна могла отождествлять Сашу, неуклюжего и нелепого человека, совершенно непригодного к сценическому искусству, со мной, который проявил изрядные способности и даже получил признание на авторитетном фестивале пантомимы.

Теперь-то я понимаю, что Татьяна ценила в нас преданность делу. Саму преданность. Остальное для неё было вторичным. Это очень странно, но как есть. И всё только потому, что сама она была полностью предана этому странному искусству.

Это я потом узнал, что только такие сумасшедшие-преданные пантомиме с ней и остаются. Только такие кладут свою судьбу на это безмолвное сценическое дело. Пантомима сама выбирает себе своих приверженцев и не отпускает. Она требует к себе от них религиозного, сектантского отношения. Пантомима выпивает из своих последователей все соки, кровь и самую жизнь.

Такие люди рассматривают отход от канонического отношения к пантомиме как фиглярство, клоунату и предательство. Они строги ко всем и к себе.

Но такое понимание пришло ко мне существенно позже.

Как прекрасна и неповторима юность! Мне легко удавалось совмещать хорошую, вдумчивую учёбу в университете и занятия пантомимой. Мне пантомимы было даже мало. Всего три раза в неделю и всего по два часа. Я готов был заниматься дольше и каждый день. Но это было невозможно.

Я совсем не думал о будущей своей профессии. Ни филология, ни пантомима никаких конкретных и внятных перспектив будущности не сулили. Всё в этом смысле было туманно и очень далеко. А я и не пытался заглядывать тогда в далёкий туман неизвестной взрослой жизни и трудовой деятельности. В ближайшем будущем маячила неизбежная армия. То есть военная служба минимум на два года. Но и об этом удавалось не думать. Я просто с наслаждением учился и занимался в студии. А одно другому не мешало и не противоречило.

Тренинги шли своей чередой. Осень заканчивалась. В середине ноября пришли настоящие морозы, и снег лёг до весны. Я очень боялся простудиться и пропустить из-за болезни хоть один тренинг. Но также чувствовал, что занятия в холодном помещении, много упражнений на ледяном полу и продуваемая дорога из дома и домой только закаляют мой всё более и более тренированный, гибкий и упругий организм.

После общего ознакомления с телом, после того как мы привыкли к растяжкам и почувствовали первые возможности управлять своими руками и ногами, мы перешли к более сложным и интересным заданиям.

Мы стали учиться полностью расслаблять все мышцы. А это оказалось совсем непросто. Потом перешли к последовательным расслаблениям и напряжениям отдельных частей тела и групп мышц. Мы медленно-медленно подходили к тому, чтобы начать осваивать технику и язык пантомимы.

Мы, разбившись на пары, подолгу бросали друг другу теннисные мячики или большие пляжные мячи. Татьяна требовала, чтобы мы запоминали объём, вес этих предметов, анализировали то, как пальцы их держат, как ведут себя руки, когда бросают и когда ловят мяч. Но мы должны были ещё провожать мяч глазами и помнить, сколько по времени и с какой скоростью он летит. После этого мы бросали друг другу несуществующий мяч. Бросали, провожали его глазами в полёте и должны были поймать брошенный в ответ.

Потом Татьяна учила нас созданию иллюзии мёртвой, то есть неподвижной, точки в пространстве. Проще говоря, учила, как можно изобразить, например, попытку открыть запертую дверь, дёргая за ручку.

Мы тренировали и разминали пальцы и кисти рук постоянно. Я делал упражнения по растяжке пальцев и дома, и на лекциях.

У нас, кроме Саши конечно, начали получаться волнообразные движения сначала только кистями, а потом и руками. Мы прямо в своём балетном классе вдруг по команде Татьяны полетели, как маленькая стая неумелых птиц. Но всё же мы полетели.

Стену ладонями мы научились показывать после всяких упражнений так, будто только этим всю жизнь и занимались. Единственно, Александр махал в воздухе своими граблями, очевидно, не видя разницы между своими движениями и движениями остальных. Он радовался. Видимо, ему нравилось, как всё получалось у нас, и он был уверен, что у него получается точно так же.

Когда мы приступили к изучению и освоению волшебного пантомимического шага на месте, который так меня поразил ещё в спектакле «Шляпа волшебника», я просто ликовал. А когда у меня получилось и Татьяна похвалила меня – это был просто-таки мой личный праздник.

С какого-то момента Татьяна стала вкраплять в тренинги короткие теоретические сообщения. Она рассказывала про тот или иной выразительный элемент, объясняла его суть, открывала историю и тайну его создания. Так я впервые услышал имя французского актёра и создателя известной нам пантомимы Этьена Декру, который когда-то в давние довоенные годы создал в Париже свой театр и, как следствие, изобрёл закрепил и дал миру язык пантомимы. Это он настаивал на том, что настоящий театр – это голый человек на голой сцене. Безмолвный человек.

Тот шаг на месте, создающий иллюзию движения без перемещения в пространстве, оказывается, имел название – шаг Марселя Марсо. А сам Марсель Марсо оказался учеником Этьена Декру.

В один вечер Татьяна устроила нам кинопоказ в Институте культуры. А это было непростое дело. Кино существовало тогда только на плёнках и могло быть просмотрено только в кинозале и с разрешения руководства.

Татьяна показала нам старинный французский фильм «Дети райка», в котором одну из главных ролей исполнил знаменитый где-то и совершенно неизвестный у нас актёр и мим, человек, который обладал выдающейся техникой пантомимы, когда-то выступал с пластическими спектаклями и писал книги, Жан-Луи Барро.

Пантомимы в фильме было с гулькин нос, но и этого мне было достаточно, чтобы впасть в оцепенение от желания такой великолепной техникой владеть.

Искусство пантомимы зародилось и проросло в неведомом, довоенном, полном тайн Париже. Имена Декру, Барро, Марсо звучали завораживающе. Где черпала свои знания Татьяна, из каких источников – оставалось загадкой. Книг об этих удивительных людях в Кемерово сыскать было нельзя. От этого всё то, что она нам рассказывала и показывала, давало ощущение прикосновения к чему-то сокровенному, уникальному, доступному далеко не всем. Я чувствовал себя одним из избранных.

В декабре наши занятия стали делиться на две части: на тренинг и репетицию. То есть один час мы разогревались, растягивались и извивались, а второй час учились применять полученную гибкость и ловкость в изучении языка пантомимы.

Мы поднимали и переносили несуществующие тяжести, чемоданы и другие предметы, катали несуществующие шары, открывали такие же двери, гуляли с невидимыми большими и маленькими собаками, сидели на отсутствующих стульях, тянули невидимые канаты, ели абсолютно прозрачную еду... Еду разную. Татьяна нас учила создавать иллюзию еды так, чтобы было понятно, что мы едим. У меня это получалось лучше всех. Татьяна даже усаживала остальных смотреть, как я ем отсутствующую еду. Все старались угадать раньше других. Девчонки радостно кричали: «Это куриная ножка и он косточку глотает!», или «Это он ест длинные макароны!», или «Не может разрезать кусок мяса, мясо жёсткое», или «Пьёт горячее молоко с пенкой» и так далее. Яблоко, арбуз, яйцо или суп были слишком просты для языка пантомимы.

– Саша! Перестаньте, пожалуйста, изображать людоеда, – говорила Татьяна, когда наш математик пытался изобразить поедание какой-нибудь еды. – А вы прекратите смеяться над коллегой! Как вам не стыдно! Вы на себя бы посмотрели, – строго и громко говорила Татьяна всем остальным.

Числа десятого декабря Татьяна закончила работу с нами немногим раньше обычного. Она попросила нас сесть на скамейку близко друг к другу и, заметно волнуясь, обратилась к нам с сообщением.

– Друзья мои, – так она к нам раньше не обращалась, – на следующей неделе на наше с вами занятие придёт институтская комиссия. Это будут преподаватели и члены профкома. Как мне сказали, будет десять-двенадцать человек. Они придут с целью посмотреть, чем мы тут занимаемся. В этом их приходе нет ничего удивительного. Студия работает уже почти третий месяц, и руководство, конечно, желает и имеет право знать, что у нас тут происходит. – Она сделала паузу, перевела дыхание и продолжила: – Когда комиссия придёт, мы будем заниматься, как занимались. Все вместе. Потом новички присядут на скамеечку, а самые у нас опытные покажут то, что мы уже выучили и чему научились. То есть поделаем шаг Марселя Марсо, потянем канаты, исполним стену. Я уверена, что это вы сможете, а ваши навыки убедят любую комиссию в том, что мы тут серьёзно работали... И вот ещё что, – сказала Татьяна и указала на большую сумку, стоявшую на полу у двери, – я принесла вам настоящие балетные купальники и лосины. Возьмите их, дома постирайте. Они стираные, но лишним не будет... Зашейте, если надо. Размер у вас практически одинаковый... Я хотела бы, чтобы мы послезавтра выглядели достойно. На этом всё. Завтра и послезавтра много не ешьте, не набивайте пузо... Я всегда всё замечаю... Ну и не опаздывайте послезавтра... Да не вздумайте заболеть! Нас и так всего одиннадцать человек. Будет меньше десяти, прикроют нашу лавочку... Дежурные сегодня и послезавтра перед началом будут наши мужчины.

Мужчинами были Саша и я. Мы сразу стали всё расставлять по местам, наводить полный порядок. Татьяна же, обычно спешившая поскорее уйти, присела на скамейку.

– Саша, можно вас на секундочку, – сказала она тихо, когда мы уже совсем почти закончили. – Александр, – ещё тише сказала Татьяна подошедшему к ней Саше и встала со скамейки. – Я очень вас прошу прийти непременно на занятие послезавтра... Придите аккуратно одетым... И... посидите на стульчике. Комиссии я скажу, что вы в студии занимаетесь, что вы единственный наш преподаватель, что вы прекрасный студиец, но сегодня нездоровы... Мне важно, чтобы вы мне помогли. А то студию могут закрыть из-за малой численности.

Александр с полной готовностью кивнул. Осталось неясно, понял он суть просьбы или нет. Но он преподавал высшую математику, поэтому его понятийные механизмы были также таинственны, как и его неподражаемая пластика.

– Спасибо большое! – сказала ему Татьяна. – А теперь я хотела бы переговорить с нашим самым юным коллегой с глазу на глаз.

Саша не сразу понял сказанное, но всё же сообразил, что ему можно идти и ушёл. Я стоял поодаль и ждал.

– Подойди, пожалуйста, – сказала Татьяна мне, улыбнувшись. С какого-то момента она обращалась ко мне то на «вы», то на «ты». Система мне была непонятна. – У меня для тебя кое-что есть, – продолжила она, когда я подошёл. – Вот. Уверена, что с размером не ошиблась. – На этих словах она достала из сумки пакет, а из пакета чёрный свёрток. – Он не новый, но очень хороший. Отнесись к этому как к самому большому подарку, какой только возможен в этих стенах в рамках нашей студии.

Она встряхнула свёрток – он развернулся. В руке Татьяна держала настоящий балетный комбинезон тонкой чёрной эластичной ткани. Он выглядел маленьким, но на проверку, когда я его надену, окажется мне совсем впору.

Я глазам не поверил! Такие я видел на настоящих мимах в книге И. Рутберга. Такой был на артисте, который показывал пантомиму про зонтик под грустную музыку в одной телевизионной передаче, в таком показывал некоторые номера Енгибаров. Это была настоящая вещь из мира пантомимы.

– Постирай его и высуши просто на верёвке. Это синтетика. Прочная. На следующем занятии будешь работать в нём. И вообще, привыкай к настоящей культуре пантомимы. Этот комбинезон теперь твой. Мы называем его трико. Береги его. Вещь редкая.

Я взял лёгкое и скользкое трико в руки с трепетом. Самый дорогой шёлк, которого я тогда и в глаза ни разу не видал, показался бы мне ветошью по сравнению с этим настоящим костюмом для настоящей пантомимы.

– И вот тебе ещё. Лучше заниматься в них, – сказала Татьяна и протянула мне пару неизвестно чего, то ли тапочек, то ли туфель белого цвета. Они были похожи на чешки, но не из кожи, а из белой плотной ткани. И, в отличие от чешек, по ним сразу было видно, что предназначены они не для спорта или каких-то упражнений, а исключительно для искусства. – Это балетные туфли. С трессом будут идеальны. Если истреплются, то ещё найдём. В Кемерово не продаются, а в Новосибирске купить можно... Ну чего стоишь? Меряй!

Я послушно стал через голову снимать майку.

– Да не трико меряй, его дома наденешь. Туфли померь.

Я снял чешки и надел туфли. Они были идеально в обlipку. Нога полностью изменилась. Когда я смотрел на свои ноги в чешках, я видел детсадовское детство, а тут я увидел ноги, которыми можно было выйти на сцену. Я увидел ноги, предназначенные для шага Марселя Марсо.

Думаю, что Золушка пережила что-то подобное, получив платье и хрустальные башмачки.

– А теперь главное, – сказала Татьяна. – Когда будет комиссия, после тренинга и общих пластических упражнений я попрошу тебя показать шаг, канат, стену. Одного. Пусть полюбуются. А потом покажи этюд... Покажи, как ты ешь. Изобрази целый обед: первое, второе, чай. Подумай над этим. У тебя получится. На комиссию внимания не обращай. Мы не для них тут работаем. Покажи просто мне и, как обычно, нашим девочкам. Хорошо?

Я уверенно кивнул.

– Да, – сказала Татьяна, усмехнувшись, – надевай под трико трусы... такие... как плавки... И чёрные... А то ткань тонкая... Сам понимаешь.

Домой я почти прибежал. Закрылся у себя в комнате, отыскал подходящие трусы, разделся, сменил трусы и впервые в жизни надел на себя чёрное трико. Я не знал тогда, что впервые надеваю настоящий сценический костюм. Я также не мог тогда догадываться, что этот эластичный тонкий чёрный чулок на всё тело будет моей главной одеждой на годы вперёд, что

я переживу в нём такое, какое мне даже присниться не могло. Я не знал, что этот комбинезон станет мне дороже и важнее собственной кожи.

Надевалось это трико через отверстие для головы. На левом плече его была ещё маленькая застёжка на трёх блестящих маленьких пуговицах. В это отверстие надо было засунуть ноги и натянуть весь комбинезон на себя. С пуговицами я повозился, но справился.

Трико туго обтянуло моё тело.

Когда я подошёл в нём к единственному в доме ростовому зеркалу, стоявшему в прихожей, в которое я бессчётное количество раз гляделся, выходя из дома, то увидел не себя. Я увидел человека, которой мог бы быть учеником Этьена Декру или другом Марселя Марсо. Я увидел стройного, идеально сложенного, изящного человека, у которого были только мои не скрытые тканью кисти рук, моя шея и моё изумлённое лицо.

– Мама! – крикнул я, не отрывая взгляда от отражения. – Мне нужно одну вещь постирать, покажи, как это сделать.

– Оставь, – отозвалась мама с кухни, – я завтра заложу в стирку.

– Нет, мам! Я сам постираю... Сейчас... Только я не знаю, каким мылом... в какой воде.

К приходу комиссии мы все преобразились. Мы все были в чёрном. Даже толстопопые наши барышни стали стройнее и выше в балетной одежде. Татьяна тоже пришла в чёрных брюках и чёрной водолазке.

До начала тренинга мы с Сашей в качестве дежурных всё привели в порядок, протёрли пол. Я даже постарался собрать и оторвать все замеченные торчавшие щепки и перспективные занозы. Уж очень я боялся испортить мой драгоценный комбинезон. Моё настоящее трико.

Упражнения в профессиональной одежде делались иначе. Всё получалось лучше и гибче, точнее и выразительнее, чем в тренировочных штанах и футболке. Очень хотелось полюбоваться собой со стороны, так хорошо и уверенно я чувствовал себя в настоящей одежде мима.

Комиссия пришла часам к восьми, когда мы тренинг заканчивали. В дверях появились какие-то женщины в шапках, платках и расстёгнутых пальто. Татьяна, увидев их, сказала нам: «Продолжайте!» – и пошла встречать комиссию. У двери возникло какое-то громкое перешёптывание и возня, а потом пришедшие тихонько прошли гуськом и уселись вдоль зеркальной стены на скамеечку, на которой у дальней стены сидел Александр. Никто не снял верхней одежды и шапок. Всего пришли два мужичка и семь женщин.

Мы продолжали гнуться и прогибаться, делая вид, что никакой комиссии не замечаем.

– Стоп! – хлопнув в ладоши, почти крикнула Татьяна. Мы выпрямились и остались стоять. – Это наши студийцы, – поведя рукой сказала Татьяна комиссии. – Мы занимаемся чуть больше двух месяцев. Все студийцы местные, все студенты и преподаватели Института пищевой промышленности.

Я слегка покраснел.

– У вас и преподаватели занимаются! – удивлённо спросил один из мужиков.

– Один преподаватель, – ответила Татьяна и указала на сидящего у стенок Александра. Все повернулись и уставились на него.

– Александр Николаевич?! – воскликнула одна дама. – Вы что, этой вот пантомимой занимаетесь?

– Да, – сказал Саша и кивнул. У него случился порыв встать, но он остался сидеть. – Занимаюсь два месяца.

Задавая вопрос, дама изумлённо посмотрела на Татьяну.

– И у него получается? – спросила она, широко распахнув удивлённые глаза.

– О да! – уверенно ответила Татьяна. – Александр – самый упорный наш студиец. – Кто-то из девчонок едва слышно хрюкнул, Татьяна испепелила её взглядом. – Вот только он сегодня

нездоров и не может заниматься. Тут, знаете ли, прохладно. Но, как видите, он не пропустил занятие и работает теоретически.

– Ну надо же! – сказала удивлённая дама. – Поверить не могу... Вы тут, наверно, чудеса творите... Просто мы с Александром Николаевичем работаем на одной кафедре...

– Простите, у нас совсем мало времени, – сказал второй мужик. – Татьяна А...

– Александровна, – подсказала Татьяна.

– Татьяна Александровна, пожалуйста, покажите, чем вы тут занимаетесь и чему учите наших студентов. А то мы представления не имеем, что это за панто... Короче, прошу вас что-то продемонстрировать.

Татьяна спокойно и уверенно попросила нас изобразить летящих птиц, продемонстрировать гибкость, показать несуществующую стену.

Комиссия довольно закачала головами, зашептала, зацокала языками.

А потом Татьяна приказала девочкам сесть в стороне на пол, а мне показать сначала тот самый шаг на месте, потянуть несуществующий канат, перенести несуществующий тяжёлый чемодан, а потом сесть на стул и съесть несуществующий обед.

Над этим обедом я думал накануне весь вечер и подготовился. Я изобразил, что ем горячий суп, который сначала был недосолён, а потом я его пересолит и стал отплёвываться. На этом одна дама хохотнула. Потом я изобразил, что очень долго не могу разрезать кусок мяса, а потом не могу его прожевать. Тут хохотнули все. Когда я тряс несуществующей вилкой, не в силах стряхнуть с неё прилипший гарнир, кто-то захохотал. А в несуществующем чае или компоте у меня кто-то или что-то плавало, и я брезгливо старался это выловить из несуществующего стакана несуществующей ложечкой. В это время хохотала вся комиссия.

Закончив, я встал. Все захлопали. Даже девочки. Я не знал, что делать, и, совершенно не готовый к аплодисментам, поклонился. Те аплодисменты были моими первыми в жизни профессиональными аплодисментами. Вторых таких у меня не было. Голова моя закружилась.

– Молодец какой, – сказал второй мужик явно про меня. – У нас же Институт пищевой промышленности, так? Пусть на новогоднем концерте выступит... Ты с какого факультета?

– Филологического, – честно ответил я.

– С какого? – спросило несколько голосов хором.

– Он студент университета, – спокойно и твёрдо сказала Татьяна, – но у него мама работает тут, и он, конечно, может выступить на концерте.

– Что мама преподаёт? – строго спросил всё тот же мужик.

– Теплотехнику и термодинамику, – без запинки отрапортовал я.

– Софья Николаевна? – уточнил он.

– Да, – кивнул я.

– Скажу ей, что сын у неё артист... Настоящий... – Он усмехнулся и вышел, а за ним все остальные.

Когда шаги комиссии стихли, Татьяна подошла ко мне.

– Ну куда ты тут со своим филологическим, а? – с упрёком сказала она, но осеклась. – Хотя что ещё ты мог сказать? Не врать же... Так что извини. Переволновалась... А ты молодец! Хорошо всё придумал... Перекивлялся, конечно. Но можно поработать, и получится неплохой номер. Вот только запомни раз и навсегда: когда ты на репетиции и когда ты не выступаешь, а учишься – никогда не кланяйся. Артист, тоже мне...

– Но они же захлопали, – обескураженно сказал я, пожав плечами.

– Справедливо! – усмехнулась Татьяна. – Аргумент принимается, но всё равно запомни... Хотя молодец! Все молодцы! А Саша сегодня просто самый лучший! Всем спасибо! Форму пока оставьте себе. В ней на вас хоть смотреть можно... А если соберётесь отвалить, то будьте любезны, сдайте. – Она сделала паузу, задумалась, а потом мотнула маленькой головой: – Спасибо, ребята, большое спасибо!

В тот декабрьский день, к сожалению, числа не помню, состоялось моё первое настоящее выступление.

До этого малюсенького выступления перед той вполне нелепой комиссией во мне не было никаких желаний, кроме жажды освоения техники и языка пантомимы. Я, казалось, готов был бесконечно заниматься растяжками и упражнениями на гибкость, совершенствовать пластику и точность движений. Я не сомневался, что, когда добьюсь в этом определённого, понятного только Татьяне результата, она предложит другой уровень познания и развития. Я был уверен, что за той ступенью, на которой я находился, последует следующая. Во мне не было никакой инициативы и собственной потребности.

Но после исполнения скромного и наивного этюда я обнаружил в себе желание двигаться в направлении выступлений. Мне страстно захотелось начать использовать полученные, пусть совсем ничтожные, знания и навыки в сценическом воплощении. Проще говоря, мне захотелось придумывать пантомимические сценки и номера. А также исполнять их для зрителей. Я захотел выступать.

Через пару недель после прихода комиссии я выступил-таки в сборном концерте студенческой самодеятельности на сцене актового зала Института пищевой промышленности. После этого я заболел сценой окончательно.

Татьяна помогла мне подготовить это выступление. Точнее, она сделала, выстроила и отрепетировала со мной полноценную пантомимическую миниатюру.

Она оставалась со мной после того, как остальные студийцы уходили, и мы репетировали. Это были первые в моей жизни настоящие репетиции.

Татьяна считала, а я ей верил, что выступление моё будет преждевременным, что мне рано на большую сцену, да ещё с большим номером. Но руководство приютившего нашу студию института в лице комиссии пожелало видеть в новогоднем концерте мой номер, и это желание необходимо было выполнить.

В процессе репетиций я что-то предлагал, что-то предлагала Татьяна. Она выстраивала композицию номера, закрепляла и фиксировала движения и мимику. Какие-то жесты и позы отвергала, какие-то требовала сделать крупнее и ярче, какие-то, наоборот, мельче. Это была удивительная работа. Мне было всепоглощающе интересно. А нам было весело.

В итоге у нас получился номер, в котором персонаж – студент, мы решили, что я играю студента, приходит в институтскую столовую пообедать. Всё, что он ест в этой столовой, оказывается невкусным, холодным, несвежим и либо слишком жидким, либо слишком твёрдым. Всё, что я ел, пил, а также держал в руках, я изображал языком пантомимы. В том числе стул и стол, на котором и за которым я сидел, и даже мух, которые летали и падали в мою пантомимическую еду. То есть я должен был выступать на голой сцене. Прямо как хотел Этьен Декру.

Впоследствии я видел много вариаций на тему посещения столовой. Я тогда не знал, что знаменитый артист театра и кино уже показывал пантомиму ровно про это. Показывал в популярной телепередаче. Но я ту передачу не видел. И Татьяну в плагиате обвинить не могу. Наш номер сильно отличался от всего мною увиденного впоследствии. В процессе работы над ним я чувствовал себя первопроходцем.

За день до концерта после пятничного тренинга Татьяна сказала нам, что мы должны придумать название нашей студии. Это требование режиссёра концерта.

– Дело в том, что наша студия значится в документах как творческий коллектив. То есть как какой-нибудь вокально-инструментальный ансамбль. – При этом Татьяна брезгливо скривила. – А творческий коллектив должен иметь название... Давайте придумаем... Я лично против этого. Нам до творчества ещё далеко... Но мы вынуждены подчиниться... Какие есть предложения? Только, пожалуйста, не надо никаких заумных и сложных слов. Не надо Пилигримов, Аэлит или Корпускул. Дружба или Доверие – это не про нас. Нам такое название не

нужно. Мы тут не дружить собрались. Вот в университете есть театр «Встреча». Дали такое название театру, вот и встречаются. – Татьяна язвительно усмехнулась. – Давайте что-то ясное и лучше в одно слово. «Тень» было бы хорошим названием, но такой театр пантомимы уже есть... Ну? Давайте! Название мне нужно передать сегодня.

Девочки не предложили ничего. Саша предложил название «Волна», на что Татьяна сказала, что в этом случае от нас будут ждать матросский танец «Яблочко». Тогда он засыпал нас предложениями типа «Крылья», «Радуга», «Тишина», «Марсель» (в честь Марселя Марсо, пояснил он), «Весна» и ещё много. Я тоже что-то предлагал.

В итоге Татьяна хлопнула в ладоши и остановила этот процесс:

– Жили без названия и дальше проживём, – решительно сказала она. – Нам пока не нужно названий.

На концерт всей студии принесли билеты. Девчонки были очень довольны, на такие концерты невозможно было попасть простым смертным студентам. Родителям я про концерт не сказал. Так мне посоветовала Татьяна, и правильно сделала. Зачем было вносить дополнительные волнения, когда меня и без того трясло.

Перед концертом и во всё его продолжение за сценой было очень тесно. Ни о какой отдельной гримёрной и речи не было. А я и не знал, что такое гримёрная. В кулисах и во всех коридорах, комнатах, уголках толпились люди с гитарами, балалайками, девушки в красивых платьях, хористы в чёрных костюмах, бабочках и с перхотью на плечах... И ещё непонятно кто.

Татьяна, предвидя такое, предложила мне одеться в трико в нашем балетном зале, а потом накинуть сверху пальто и пройти потайными ходами за сцену. Я так и сделал. Внутри меня стоял абсолютный холод волнения. Мне казалось, что единственный мой оставшийся в живых орган – только сердце и его стук слышен даже на улице.

Когда я оделся для выступления, набросил на плечи пальто и собрался выходить из нашей студии, Татьяна остановила меня.

– погоди! Сейчас я тебя слегка загримирую, – сказала она удивительные слова. – При-сядь.

Я сел, а Татьяна достала из сумки чёрную широкую и плоскую пластмассовую коробочку, на которой было написано: «Грим». Она открыла её, и я увидел все цвета радуги, как в новой коробке пластилина, но только ярче и разнообразнее.

Татьяна пальцами брала белую краску из коробки и наносила мне на лицо. Быстро и уверенно. Потом попросила закрыть глаза и чем-то поводила по закрытым векам, ниже глаз и под бровями.

Она ещё что-то делала. От грима пахло бабушкиной пудрой и кремом для рук.

– Запомни этот момент, – закончив работу с моим лицом, торжественно и тихо сказала Татьяна. – Взгляни-ка сюда.

Я повернулся к зеркалу и увидел артиста. Настоящего артиста мима. Настоящего. Мне совершенно незнакомого. Этот артист был в классическом гриме. В гриме, без которого исполнять пантомиму невозможно. В гриме, который моментально вспоминается при слове «пантомима». Но у этого артиста были мои глаза.

Я выполнил просьбу моего учителя. Я запомнил тот момент.

Мой номер был в середине концерта. Со сцены доносилась музыка и стук каблучков танцоров, аплодисменты, объявления, стихи, аплодисменты, песни, аплодисменты. Татьяна стояла рядом. Я был собран и сжат, как семечко, как горошина, готовая дать росток, как крошечный птенец в скорлупе ещё целого яйца.

И вдруг чей-то голос рядом произнёс:

– Ваш выход следующий.

Потом была музыка, которая играла бесконечно долго, а потом я услышал весёлый и громкий мужской голос, долетавший со сцены:

– Много удивительных чудес скрывается в глубинах нашего института. Каких только талантов нет среди тех, кто учится в нём и работает. Эти таланты не перестают удивлять. В уходящем году мы видели массу сюрпризов на этой сцене. Но год ещё не закончился, и у нас в запасе есть ещё один сюрприз.

– Впервые на этой славной сцене, – продолжил бодрый женский голос, – вы сейчас увидите... Именно увидите, а не услышите... Уникальное искусство пантомимы. С начала учебного года в нашем институте открыта и работает студия пантомимы. – Тут зазвучали аплодисменты. – И пусть медицинский, политехнический, Институт культуры и даже университет кусают локти и завидуют нам. У них таких артистов нет, а у нас есть. – Снова загремели аплодисменты.

– Итак, – снова зазвучал мужской голос, – на сцене выступление студии пантомимы Технологического института пищевой промышленности. Миниатюра «В студенческой столовой». Вас ждёт юмор, сатира, критика и самокритика...

– Вот идиоты!.. – металлическим шёпотом сказала Татьяна.

– А также удивительное искусство пантомимы, – всё громче и быстрее говорил ведущий, – в исполнении студента первого курса...

И тут он произнёс мои имя и фамилию.

– Иди, – спокойно сказала Татьяна, и я пошёл.

Нам не дали порепетировать на сцене. Так что я вышел на такую большую сцену впервые в жизни. Зал аплодировал и даже смеялся в предвкушении юмора и сатиры.

Я в жизни слышал и читал много воспоминаний о первом выходе на сцену и непременно провале. С детства любил и люблю один из Денискиных рассказов Драгунского про то, как Дениска на концерте пел частушки «Папа у Васи силен в математике». И какой у него случился провал. Я обожаю гениальный монолог Ираклия Андроникова «Первый раз на эстраде» – этот удивительно смешной провал великого рассказчика.

Со мной ничего подобного не произошло. Всё моё волнение исчезло, как только я вышел на сцену. Я не ожидал, что она будет такая огромная и что свет будет таким ярким. Я также не был готов к тому, что из-за мощных прожекторов, бьющих в глаза, мне совершенно не будут видны зрители. Но это не помешало мне точно определить то место, на которое надо прийти, чтобы начать выступление.

Я, не торопясь, вышел на самую середину, туда, где свет был самым ярким, и остановился. Зал моментально затих. Воцарилась волшебная тишина, которую можно услышать только там, где в ожидании молчат сотни людей.

Секунд через двадцать после начала моего выступления кто-то стал хихикать, потом ещё кто-то, через минуту зрители хохотали.

Я отработал номер так, как мы репетировали, – ни лучше ни хуже. Всё сделал в точности от и до. В какие-то моменты мне хотелось добавить смешного, и я знал, что хочу добавить, но не стал.

Мне аплодировали очень горячо. Я же и тут выполнил наказ Татьяны, то есть быстро подошёл к краю сцены, поклонился одной головой и очень быстро убежал под гул аплодисментов и выкрики «ещё, ещё...».

Кроме радости и облегчения, я ничего тогда не чувствовал. Да. Совсем не чувствовал того, что сладкий волшебный яд проник в меня. Я вдохнул его на сцене.

– Молодец, – вполне спокойно сказала мне Татьяна, сразу после выступления уведя меня в тихое место. – Но над точностью надо поработать. Память рук надо развивать. На сцене все недочёты сразу становятся видны. Сцена вскрывает все недостатки. Но молодец. Всё сделал, как мы отработывали. Не суетился. Иди переодевайся. И грим смой, а это непросто.

Вскоре год закончился. На последнее занятие уходящего года Татьяна принесла малюсенькую пластмассовую ёлочку с несколькими фонариками. Это всё, что было праздничного в тот день в работе нашей студии.

А потом была первая сессия, и я в первый и в последний раз стал отличником. А ещё потом были первые студенческие каникулы. Это были первые каникулы, которым я был не рад. Они показались мне бесконечно долгими. Я истомился, ожидая их окончания. Вот как сильно мне не хватало пантомимы.

Татьяна закрыла студию на две недели. Я предложил продолжить работу. Но все, кроме меня, были иногородними, им надо было ехать домой, они рвались в свои районные центры и городки. Девчонки хотели каникул, домашней еды и мечтали хоть ненадолго покинуть общежитие, а также Институт пищевой промышленности в целом.

Я этого тогда понять не мог. Я жил дома с родителями. И у меня была своя комната. Мне тогда ещё было неведомо, какая это великая ценность, какое это счастье и благо.

Мне очень хотелось попросить Татьяну поработать со мной индивидуально, и я не понял, почему она отказала. Я тогда не знал, что можно желать просто побездельничать, даже если у тебя есть любимое дело и возможность от него не отрываться.

О юность! Ты щедра. Ты расточительно щедра на время. Ты даришь его так легко, что его просто не удаётся оценить. Ты, юность, даришь бесценного времени так много, что его совершенно не жалко тратить. С чего ценить то, что неисчерпаемо? В юности можно даже гневаться на то, что времени слишком много. Можно пытаться его ускорять, прожигать, убивать разными способами, например бесконечной болтовнёй по телефону, потугами писать стихи, стараясь возбудить в себе то, что принято называть вдохновением, а ещё можно маяться в ожидании чего-то, слоняться по городу без цели и с тоской видеть, что стрелки часов практически неподвижны.

В свои первые студенческие каникулы я в полной мере ощутил неподвижность юношеского времени, когда нечего делать. Татьяна отказалась вести студию для меня одного, заниматься со мной индивидуально, а также решительно не позволила мне приходить самому в балетный зал и заниматься в гордом одиночестве.

Дома в те каникулы мне совсем не сиделось. Никакой поездки я себе не придумал, интересной компании после расставания с местными битниками у меня не появилось. С девочками я к тому моменту ещё не научился общаться как с девочками, а стало быть, ни в кого влюблён не был и даже не был увлечён. То есть времени у меня было страшно много.

Именно поэтому тогда, той самой зимой, на грани своего совершеннолетия я взял – и от корки до корки прочитал «Илиаду». Уж если убивать время, так уж убивать.

Как я рад, что мне тогда каким-то чудом пришло в голову потратить свои первые студенческие каникулы таким странным и мучительным образом. Сейчас я понимаю, что если бы тогда я этого не сделал, то не сделал бы никогда. Я впоследствии не нашёл бы в себе сил и возможности прочесть этот невозможный для живого восприятия текст, а главное, не смог бы его полюбить.

Дома я не смог «Илиаду» читать. Дома я находил всякие лазейки и причины от этой книги оторваться, прекратить эту муку и тоску. Но цель была поставлена, и, чтобы её добиться, я стал читать в читальном зале библиотеки университета. Уезжал из дома утром, брал с собой бутерброды и читал.

Читал каждую строчку, боролся с желанием пропускать особо бессмысленные страницы. Даже Список кораблей² я мужественно осилил полностью. Когда я терял понимание и про-

² Список кораблей (каталог кораблей, перечень кораблей, *др. – греч.* νεῶν κατάλογος) – эпический перечень во второй книге («песни») «Илиады» Гомера, где перечислены отряды греческого войска, отплывшие к Трое на Троянскую войну. Занимает строки с 494 по 759. Указаны вожди каждого отряда, поселения, подчинявшиеся ему (обычно с теми или иными поэтическими эпитетами), а также указано количество кораблей, потребовавшееся для перевозки воинов под стены Трои (названия

сто бежал глазами по строчкам, читая буквы, которые не складывались в слова, когда моё сознание бунтовало и переключалось на живые и посторонние мысли, я останавливался, отрывался от книги, выходил из тихого и торжественно-пустого в дни каникул читального зала, шёл мыть лицо холодной водой, а потом возвращался к Гомеру, находил то место, с которого терял нить текста, сбегая в собственные неуловимые размышления, и продолжал мучительный труд. Только в юности можно заключать с собой такие пари, пытаюсь себе что-то доказать.

«Илиада» за первую неделю поработила меня. Она подчинила меня себе, и мука превратилась в счастье. Когда к концу второй недели я завершил труд чтения этой великой книги, когда прочёл я «Так погребали они конеборного Гектора тело», когда «Илиада», казавшаяся бесконечной, вдруг закончилась и на странице ниже последней строки распахнулась пустота белой бумаги, я заплакал. Не сильно. Несколькими слезами.

«Илиада» вошла в меня и легла на своё место в моей жизни. Легла куда-то в основание, в фундамент. Тогда я не знал, что это основание и есть то, что называется словом «образование».

До сих пор горжусь тем, что могу ни капельки не лукавя говорить, что прочёл «Илиаду» от и до. С «Одиссеей» так не получилось. Я попытался её читать сразу после «Илиады», но уровень текста был не такой высокий, не такой великий. Да и каникулы кончились.

Жаль, что каникул, которые бы совпали с «Дон Кихотом», у меня не случилось. А то мог бы говорить, что я прочёл оба тома. Увы! Я и одного не осилил.

Не могу не отвлечься от повествования для важного комментария.

Я старательно избегаю отклонений от главной темы романа. Этой темой является таинственный путь к театру и поиск собственного театра. Поэтому пропускаю и должен пропускать значительные временные отрезки и важные события жизни, которые не являлись движущими или препятствующими на том пути.

Это очень непросто. Как только углубляешься в воспоминания, как только запускаешь этот процесс на полную мощь, так сразу прошлое возникает и обрушивает на тебя массу больших и совсем незначительных событий, кучи мелочей и целые вереницы лиц и имён. Что-то вспоминается точно и детально, что-то совсем смутно и без подробностей. И всё кажется дорогим, бесценным, необходимым. Хочется вспомнить и запечатлеть всё без исключения. Каждую вспомнившуюся деталь, каждое когда-то произнесённое слово, каждое услышанное в ответ, каждое лицо, имя, место... И даже одежду и обувь. То есть всё, что сохранила и позволила воспроизвести память.

Однако нужно выбирать. Приходится отказываться от дорогих и важных воспоминаний в пользу тех, которые могут стать частью этого романа. Остальное необходимо мужественно оставить на месте, понимая даже, что, вполне возможно, мне не удастся к ним вновь вернуться, а стало быть, они канут, исчезнут, растворятся без следа.

Когда «Илиада» и каникулы подходили к концу, после очередного дня, проведённого в читальном зале, я спустился из библиотеки к гардеробу и увидел двух парней, которые вешали на доску объявлений небольшую афишу. Парни были яркие, что называется «творческие личности». Они громко говорили, смеялись и вели себя очень свободно.

Когда парни сделали своё дело и удалились, я подошёл к афише. Она была аккуратно исполнена цветной гуашью на толстой бумаге. Кто-то во весь лист нарисовал стену красного кирпича, а на стене написал: Театр «Встреча», А. Казанцев, спектакль «Старый дом» тогда-то и тогда-то.

С тех пор как Татьяна спросила меня про некий театр «Встреча», я конечно же думал о нём. Я разузнал об этом театре всё что мог, но ни разу в нём не бывал. Мне было не любопытно. Театр он и есть театр, хоть областной, хоть университетский. Мне он был не интересен и не нужен.

Однако каникулы затянулись, и после десятка дней чтения «Илиады» мне не был страшен никакой театр. Так что я решил посмотреть спектакль «Старый дом».

Про театр «Встреча» я знал, что это сугубо студенческий театр, что каждый год в его студию набирают новых студийцев. Попасть в их число очень трудно, а стать одним из тех, кто допущен до сцены, почти невозможно. Точнее, возможно, но так же, как возможно чудо. Спектакли во «Встрече» давали не часто, билеты раздобыть было нереально.

Все те люди, что входили в число актёров «Встречи», все студийцы, а также некие приближённые к театру, все подруги, приятели или приятели подруг были особенными. Они ходили по университету по-хозяйски. Они были высшим обществом в университетских стенах. А университет определённо любил свой театр.

Спектакль «Старый дом» был назначен на вечер первого после каникул учебного дня. В студию в тот вечер идти было ненужно, и я после занятий посидел в читальном зале, всласть углубился в древнерусскую литературу и пошёл на спектакль.

Я знал, что во «Встречу» попасть трудно, что мест в этом театре мало, но шёл спокойно с мыслью: попаду – хорошо, не попаду – так ещё лучше.

Вечером университет был ещё полон жизни. Везде в переходах и коридорах горел яркий свет, всюду были люди.

В узком коридоре между двумя корпусами университета стояла небольшая толпа. Это были ожидающие спектакля зрители. Те, кто шли по своим делам из корпуса в корпус, вынуждены были протискиваться сквозь толпу. Я к толпе присоединился.

Мне не раз приходилось ходить по этому коридору. Коридор был как коридор. Двери с обеих сторон. Но на одной висела табличка «Театр “Встреча”», а рядом с дверью на стене находилась доска, пестрившая разной информацией о жизни театра. Где же был сам театр и какой он, я не знал.

Зрители, пришедшие в театр «Встреча» не были нарядными, но зато от них исходило благоговение. Они были тихи, как в читальном зале библиотеки, взволнованны и все в предвкушении. В основном в подавляющем большинстве это были молодые барышни и дамы. Скорее всего, студентки и преподаватели. Мужчин не было. И только несколько парней немногим старше меня решили посмотреть спектакль «Старый дом».

Минут за пять до назначенного времени начала спектакля за дверью с табличкой послышалась возня, зрители затаили дыхание и только кто-то ворча протискивался сквозь жаждущих театра, спеша по своим мирским делам.

Дверь приоткрылась, из неё выглянула девушка с причёской, строго оглядела окружающих и так же строго, как представитель высших сил, сказала: «Пожалуйста, приготовьте билеты».

Зрители, потянувшись в дверь, протягивали билеты. Там, за дверью, было темно. Я стоял и ждал, когда все пройдут.

Ждать пришлось недолго.

– Ваш билет, – выглянув в коридор и убедившись, что никого больше нет, спросила девушка с причёской.

– Простите, но у меня нет билета, – ответил я спокойно и улыбнулся.

– И что?

Я пожал плечами.

– С какого факультета? – быстро оглядев меня сверху вниз и обратно, спросила она.

– Филологический.

– Понятно, – предварительно тяжело вздохнув, сказала она. – Постой тут.

А я успел подумать о том, что, если бы я сказал, что я с исторического или математического? Она бы тоже так вздохнула?

– Всё. Пойдём двери перекроем, – позвала девушка кого-то.

На её зов пришла другая девушка, с другой причёской, и они пошли в разные стороны к дверям, которыми начинался и заканчивался коридор. Двери с грохотом быстро были закрыты, и девушки поспешили обратно.

Мне же было ясно, что на спектакль я конечно же попал, иначе меня бы не оставили в заблокированном с обеих сторон пространстве. Тогда я вспомнил то, как попал в томский Дом актёра на «Шляпу волшебника» и понял на всю жизнь, что в театр можно попасть всегда, если ты один и вежлив.

– Заходи, – сказала мне первая девушка, – проходи, садись там.

И я вошёл в театр «Встреча». Под ногами что-то захрустело. Я глянул и увидел рассыпанные по полу сухие осенние листья. Многие уже раскрошились под ногами.

Попал я в небольшое невысокое вытянутое помещение с чёрными потолком, стенами и без окон. Оно было даже меньше, чем то, где я смотрел «Шляпу волшебника». Но если там я не ощутил нелюбимого мною театра, там со мной случилось чудо, когда начался спектакль, то тут театр чувствовался сразу.

Больше всего меня поразило вот что: только что я стоял в ярко освещённом коридоре, по которому много раз ходил и по которому ходят и ходят люди по своим исключительно университетским делам, а потом сделал буквально один шаг за порог двери с табличкой «Театр «Встреча»» – и оказался в театре. Причём не просто в театре, а сразу на сцене.

Да, войдя в дверь и наступив на сухие листья, я увидел перед собой зрителей. Помещение было вытянутым вдоль коридора, и вдоль всей длинной стены напротив двери сидели в несколько рядов те самые люди, с которыми я толпился в коридоре. А вдоль той стены, в которой была дверь, стояла какая-то мебель.

В помещении было довольно темно. Тусклый свет шёл непонятно откуда и освещал зрителей. Остальное пространство уходило в полумрак и черноту стен.

Я увидел один-единственный свободный стул строго посередине первого ряда, прошёл к нему несколько шагов и уселся. Как только я это сделал, дверь в коридор закрылась, тусклый свет погас и всё погрузилось в темноту. Вслед за этим зазвучала музыка.

Зал, пятьдесят с небольшим зрителей, вдохнул и выдохнул. Кто-то прошёл мимо в полной темноте, едва меня не задев. Я почувствовал сильный сладкий запах духов. Следом прошёл ещё кто-то и пахнул потом. Темнота с музыкой длилась секунд двадцать.

И вдруг в дальний от меня правый угол ударил яркий свет нескольких театральных ламп. Музыка пошла на убыль, и стал слышен громкий, слегка треснутый девичий смех. Смеялась девушка, которая в освещённом углу стояла вдвоём с парнем на фоне убогой декорации, изображавшей стену заброшенного дома. Ещё там была какая-то лестница, на полу – сухие листья.

Парень и девушка заговорили... Они находились совсем близко и на одном уровне со мной. Мои ноги стояли на том же полу, что и их ноги. Несколько секунд назад они чуть не задели меня, проходя мимо, я уловил их запахи. Но стоило им заговорить, как они тут же стали недостижимы и далеки, как в обычном театре. И говорили они так же неестественно и громко, как те актёры, что я видел на сцене областной драмы.

Спектакль я помню смутно. Он мне не нравился. Это был вполне обычный театр, только засунутый в маленькое помещение. Актёры были молодые, даже юные, но старались играть взрослому. Они наивно изображали зрелых людей, в отличие от профессиональных артистов областного театра, которые изображали молодых. Декорации были неряшливы, костюмы на всех выглядели одеждой с чужого плеча. К тому же всё – и декорации, и актёры – находилось совсем близко. Иногда на расстоянии вытянутой руки.

Пьесу тоже не помню. Какие-то разговоры, семейные сцены. Какой-то современный быт. Язык, которым говорили персонажи, был вроде похожим на живую речь, но в то же время он был каким-то слишком простым. Не таким, каким говорили известные мне люди. А после долгого чтения «Илиады» он казался мне просто примитивным. И трудно было после компании Агамемнона, Гектора, Приама и Ахиллеса переключиться на быт в исполнении юных людей.

Зрители же были в восторге. Они плакали, смеялись, взрывались аплодисментами. Их близость к исполнителям заводила последних, и они играли всё громче и громче.

Мне не нравилось то, что я видел. Но скучно и неловко за людей на сцене мне не было. Спектакль и сам театр были фальшивыми, но того отвращения, какое я испытывал на «Горе от ума» в драмтеатре, со мной в маленьком помещении «Встречи» не случилось.

Я не сразу понял почему. И только когда рядом со мной, метрах в двух, не более, появился здоровенный, мощный молодой парень и стал играть роль пьяного мужика, я осмыслил разницу двух театров, большого областного и маленького студенческого...

И тот и другой театры делали одно и то же, способы изображения и там, и там были одинаковые... Вот только в театре «Встреча» люди в свете прожекторов, в плохих костюмах и убогих декорациях беззаветно любили то, что они делали. По ним было видно, что сама возможность играть в театре, исполнять роль – это для них огромное счастье, дар и лучшее, что только могло с ними случиться.

Парень, игравший пьяного, говорил таким мощным голосом, что был бы слышен в огромном зале. Жилы на его шее надулись, глаза налились кровью. Такое было слишком, это было чересчур в маленьком театре для полусотни зрителей. Но было видно, что он работает на пределе, так его распирала страсть. Так он любил театр! Пот с него потёк почти сразу же. Но если бы было нужно, то он и кровь пустил бы из жил.

Когда он со страшным грохотом и хрустом опустил кулак на стол, за которым сидел, барышни по обе стороны от меня подпрыгнули. Я посмотрел сначала на одну, потом на другую. С ними происходило гораздо большее, чем просто театр. Если бы я был тогда старше, то смог бы догадаться, что с ними происходило.

Когда спектакль закончился, я был этому рад. Но радовался окончанию спектакля я один. Актёры бы ещё играли и играли. Барышни бы ещё смотрели и смотрели. Зато какую они устроили овацию! Настоящую, со взвизгиванием. Я не мог себе представить, что пятьдесят человек могут наделать столько шума.

Мы аплодировали стоя, актёры кланялись, вплотную подходя к нам. После двух волн аплодисментов на сцену вышел человек, при виде которого гром восторга усилился вдвое. Он в спектакле не играл, а, значит, был тем, кто спектакль делал.

Я вспомнил, как аплодировали в Томске столь поразившему меня спектаклю и его лидеру. Там восторг выражали куда скромнее, хотя спектакль был волшебный. Это я тогда объяснил себе тем, что в суровом промышленном Кемерово страсти кипят куда сильнее, чем в утончённом, культурном северном Томске.

Человек, который вышел на сцену, вёл себя совершенно свободно. Он подал актёрам знак подойти ближе к зрителям и откланяться как следует, а сам, даже не улыбаясь, а скорее усмехаясь, едва кивнул нам пару раз.

Он был с бородой, невысокого роста, с пузцом, в джинсах, заправленных в короткие сапожки на молнии, в свитере, на шее у него был повязан шарф. Так в кино показывали художников, учёных, путешественников. Всё на нём было мягкое, и ничто не мешало его свободе. Он был в этом театре среди своих актёров свободнее, чем у себя дома, если, конечно, у него был дом. Жесты его были расслаблены и властны. Если бы римские императоры жили в Сибири, то они были бы одеты и выглядели бы именно так.

Когда овация иссякла, актёры не ушли за кулисы. Не растворились в недоступных недрах театра. Кулис и недр не было. Были какие-то лазейки за чёрной тканью, висевшей по стенам,

и тот самый коридор, дверь в который распахнулась, и оттуда в театр ввалился свет обычного скучного коридора.

Зрительницы потянулись в эту дверь, обглаживая глазами актёров, которые, скинув с себя облик персонажей, принимали благодарность и поздравления от тех зрительниц, которые решились к ним подойти. Особенно жадно уходящие смотрели на парня, который играл пьяного мужика. Какие-то барышни окружили его и щебетали.

– А что? Оставайтесь! Сейчас чай будем пить, – говорил он щебетуньям своим могучим голосом на зависть уходящим. – Одежда у вас где? В гардеробе? Давайте бегом туда и обратно... Да нормально! Чаю попью...

Помню, что ехал домой по холодному городу в ледяном троллейбусе, что называется, в смешанных чувствах. Я был рад тому, что спектакль и сам театр «Встреча» мне не понравились. Мне было спокойно и приятно осознавать, что всё я делаю правильно, что искусство пантомимы гораздо более высокое и прекрасное, чем то, что я видел в маленьком зале университетского театра. Но тот бешеный восторг зрительниц меня огорчил и обескуражил. Когда я наблюдал, что в областном драмтеатре людям нравилось ровно то, что мне не нравилось категорически, это вызывало у меня просто недоумение. А тут я чувствовал сильное беспокойство, раздражение и даже гнев.

Я не знал тогда, что испытывал первую в жизни ревность к чужим зрителям и чужому, как мне казалось, незаслуженному успеху. Я не понимал тогда, что впервые пришёл на спектакль не просто зрителем, а уже артистом другого коллектива, носителем другой художественной идеи. Не знал я и того, что уже больше не смогу быть в театре просто зрителем, а эта ревность будет только углубляться во мне и крепнуть.

Когда я смотрю на фотографии времён первого курса, а их осталось совсем немного, с десяток, то вижу очень странного человека. Таким я был всего один год. В школе я был весёлым, язвительным, увлекающимся всем подряд троечником, почти разгильдяем. Был человеком, которого невозможно было заставить делать то, что ему было неинтересно или казалось ненужным. Я, как мог, старался необычно одеваться и из кожи лез вон, чтобы блеснуть редкими для своего возраста знаниями, которые никак не могли помочь в учёбе.

На первом курсе всё изменилось. Короткая встреча с битниками кемеровского образца случилась вовремя и послужила прививкой от высокомерия и снобизма.

Я вдруг стал дисциплинированным и целеустремлённым. Первую сессию сдал на отлично без сучка и задоринки. Мне вдруг понравилось быть отличником. Я сразу и навсегда понял, что учиться в университете хорошо – это намного проще, чем учиться плохо. То есть с хвостами, пересдачами и прочими радостями.

Ну а занятия пантомимой делали мою жизнь полностью осмысленной и счастливой.

Одеваться я стал в университет очень аккуратно и скорее скучно, чем элегантно... Хотя какая могла быть элегантность в то время в семнадцать лет. В тот год я пристрастился тщательно чистить обувь. Регулярно и до блеска.

Стригся я коротко, без фокусов. Отрастил усы...

На самом деле усы полезли ещё в школе и довольно рано. Я этим гордился. Я был единственным усачом в классе. Но в школе за усами я не следил. А вот в университете стал их подстригать, ровнять, чуть ли не расчёсывать.

Мне всегда, точнее, лет с пятнадцати, ужасно не нравилась моя внешность. Я завидовал тем ребятам, у которых были густые и толстые волосы. Мне смертельно хотелось носить волосы на прямой пробор с волнами в обе стороны. Такое называлось «финский домик». Но мои тонкие и редкие волосы не позволяли с собой это сделать... Я завидовал длинноногим и высоким.

В школьные годы я не стеснялся своей картавости, спокойно пропускал мимо ушей смех класса на уроках истории после того, как произносил во время ответа «крейсер “Аврора”», или «Порт-Артур». Я не обижался, когда меня передразнивали...

А в университете я впервые ощутил картавость свою как что-то нехорошее, ущербное, неаккуратное. Студент-отличник не мог, не должен был так говорить. Стесняясь этого речевого дефекта, я научился довольно ловко подбирать слова с минимальным количеством неудобного мне звука, а также натренировался произносить его наиболее мягко, округло, не раскатисто.

Возможно, поэтому по всем этим причинам в свой первый студенческий год я совсем совершенно не интересовался барышнями. Ну совсем! Хотя их было вокруг столько... В сущности, на филологическом факультете только барышни и были. Да к тому же мы учились в одном корпусе с факультетом романо-германской филологии, проще говоря, с факультетом иностранных языков. А на нём учились самые красивые, нарядные и лихие барышни...

Но у аккуратного студента с короткой стрижкой, усами, во всегда свежей рубашке и блестящих ботинках, который смотрит на меня с фотографий первого курса, на уме была только пантомима, «Илиада», языкознание, латынь и восторг от начала изучения теории литературы.

Таким, как в тот год, счастливым, уверенным в себе, гордым и довольным своими успехами, таким целеустремлённым и эффективным я не был до и не буду уже после никогда. Но почему я был именно таким, в то время как все мои одноклассники наслаждались первым студенческим годом как абсолютной свободой накануне неизбежной армии, мне до сих пор непонятно. Видимо, пантомима требовала такого, и только такого, подхода к жизни.

В студии, на первом после каникул тренинге, я испытал прямо-таки физическое наслаждение от движений и нагрузки. Я пытался дома делать упражнения, тянуться, совершенствовать пластику, но сразу убедился, что это бессмысленно. Мне необходимо было свободное от всего домашнего, житейского, мирского пространство. Мне нужен был даже этот продуваемый путь от дома в студию и обратно, чтобы оставить всё постороннее за пределами зала с зеркалами и дощатым полом. Но главное, мне нужно было руководство! Я понял, что любые занятия без поставленной задачи, без замечаний и наблюдающего за твоей работой со стороны становятся просто физкультурой, просто утренней зарядкой. А у тренинга в студии каждый раз была задача, которую ставила Татьяна. Она же оценивала качество исполнения этих задач. Из совокупности выполненных задач вырисовывалась цель... А целью была пантомима!

После каникул девчонки вернулись весёлые, шумные. Некоторые принесли Татьяне домашние гостинцы. Наивные и милые барышни! Татьяна резко и коротко всё отвергла, приказала быстро переодеться, прекратить болтовню и построиться. Оглядев их, она язвительно отчитала бедных девчонок за набранный на домашних харчах вес. Татьяна как рентгеном прошлась по каждой.

– Пирог, картошка, блины, сметана, – чётко проговаривала она тонкими улыбающимися губами, – как же! Доченька приехала домой, доченька в городе исхудала!.. И что мне теперь с вами делать?.. Хотя я знаю, что делать!.. Будем ваш свежий жирок оставлять на этом полу... Повернулись направо и побежали... Быстрее, быстрее... По хлопку поворачиваемся и бежим в обратном направлении... Бегом!..

Мы побежали быстрее и быстрее. Бедолага Александр каждый раз по хлопку запаздывал, натёкался на кого-то, ронял очки, останавливался, чтобы их поднять, тогда натёкались на него...

– Запомните раз и навсегда, – громко говорила Татьяна нам, бегущим, – каждый пирог, каждая картофелина, каждая конфета и бутерброд повисают у вас на талии и увеличивают пятую точку. А куда её ещё больше растить? А?! Быстрее, быстрее! Спину держать! Красиво бежим!.. Когда в столовой борщ берёте, котлеты с картошкой, сметану, булки и компот, смотрите на тех, кто вам это приготовил. Хотите быть такими?.. Пожалуйста! На здоровье!.. Да!

И ещё мороженое! Запомните: мороженое – это прекрасный и уникальный продукт. Стопроцентное усвоение. Сколько съел, столько прибавил в весе. Замечательно! Картошка и пельмени ни к чему, если есть мороженое. Александр! Что с вами? Ну-ка подойдите ко мне.

Саша подбежал к Татьяне, остановился перед ней, тяжело дыша. Он хотел что-то сказать, но не мог справиться с дыханием.

Ему так и не удалось ничего произнести, потому что язвительно-насмешливое выражение лица Татьяны вдруг страшно изменилось. Губы её побелели, лицо всё заострилось, а глаза за большими очками сощурились до тонких чёточек.

– Вы пьяны! – громким шёпотом сказала она. – Немедленно уходите отсюда... Немедленно! И не вздумайте больше приходить сюда в таком виде... Вы разочаровали меня. Уходите!..

Александр поплёлся одеваться, весь сгорбленный и уничтоженный.

– Так... А теперь по хлопку разбежались и упали на спину! – не глядя на Александра, крикнула продолжавшим бежать по кругу нам Татьяна.

Тренинг в тот раз длился все два часа и был очень суровым. По его окончании Татьяна сразу ушла, не назначив дежурных. Мы все вместе навели порядок и разошлись восвояси. Между собой после тренинга не разговаривали. Все, и я в том числе, чувствовали какую-то таинственную вину. Вину за то, что Татьяна осталась недовольна, что она огорчилась и что мы не такие, как надо. Она конечно же была замечательным педагогом!

Про посещение театра «Встреча» я ей не рассказал. Даже не заикнулся.

В следующий раз Татьяна пришла весёлая, добрая и разговорчивая. Вместо того чтобы сразу начать тренинг, она нам рассказала о том, что мы начнём изучать новую технику, об истории пантомимы и вообще была интересна и нежна.

Увидев, что Александр не пришёл, Татьяна попросила барышень разыскать его в преподавательском общежитии или на кафедре, узнать, всё ли с ним в порядке, и сказать ему, чтобы он непременно приходил уже в следующий раз.

Она сделала нас счастливыми, и, когда начала тренинг, мы растягивались, прогибались, садились на шпагаты гораздо лучше, чем до каникул. А Татьяна хвалила нас, каждому уделила внимание и время, каждого окрылила. Что ещё было нужно?..

Так всё и продолжалось бы по понедельникам, средам и пятницам...

Но в один из последних дней января в нашем балетном зале появился Валера Бальм.

Я, как обычно, пришёл к семи вечера в студию, как обычно, зашёл в родное уже помещение и остановился в дверях, не решаясь войти.

В нашем зале у зеркальной стены, закинув ногу на станок, стоял высокий, идеально стройный мужчина и совершал какие-то красивые движения. Он одет был в чёрное трико, обтягивающее длинные прямые ноги, прямое гибкое тело и грудь. Руки же и плечи его были голые. Рукава тонкого своего комбинезона он завязал на плече, запустив один за спину. От этого он был похож на какого-то античного героя.

Пришедшие раньше меня девчонки и Александр сидели у двери на скамейке, не зная, что им делать, и заворожённо наблюдали за безмолвным человеком у балетного станка.

– Ну что притихли? – вдруг, продолжая телодвижения, сказал незнакомец. – Давайте переодевайтесь. Не обращайтесь на меня внимания. Татьяна... Татьяна Александровна скоро подойдёт.

Это было сказано бесцеремонно, но не грубо и не нагло. Он не поздоровался, но в этом не было хамства или высокомерия. Голос его звучал спокойно, но в интонации слышалась странная манерность.

То, как он к нам обратился, не предполагало диалога или хотя бы вопроса с нашей стороны. Вопроса типа: «Простите, а кто вы такой?»

Мы переоделись, не проронив ни слова, и уселись на скамейку. Незнакомец продолжал движения у станка. Весь он был гибок и грациозен, явно из некой высшей лиги, по сравнению с нами.

– Почему расселись? – неожиданно, опустив ногу со станка на пол и сделав пару шагов в нашу сторону, сказал незнакомец. – Вы что, сюда сидеть пришли? Ну-ка давайте стройтесь, как вас учили... Давайте, давайте...

Мы беспрекословно выполнили указание.

– А теперь начнём тренинг. Нельзя терять драгоценное время... О! Хороший комбинезон, – указав рукой на меня, сказал он, весело подмигнув мне. – Ну! Начали. Делай как я.

Он стал прыгать на месте, крепко сжав ноги и вытянув руки вдоль тела, весь напряжённый, как стальная пружина. Запрыгал он очень быстро, упруго отталкиваясь от пола, казалось, одними пальцами ног. Мы регулярно делали такое на тренингах, но его мастерство исполнения этого упражнения казалось недостижимым.

Татьяна, давая нам задания, объясняя нам новые движения и упражнения, никогда не занималась тренингом с нами. Она всё очень точно и доходчиво объясняла словами. Иногда, заметив, что кто-то из нас начинал работать на тренинге формально, будучи уверен, что достиг совершенства исполнения того или иного движения, она демонстрировала, как действительно нужно двигаться. Она это делала только один или два раза так, что становилось ясно, что перед нами мастер и нужны тренинги и тренинги, чтобы хоть как-то приблизиться к её уровню.

А тут впервые незнакомый нам человек, взявшийся неведь откуда, но явно из недоступных нам пантомимических сфер, занимался с нами тренингом, исполняя сам своё же задание. Да ещё как исполняя!

– Бюстгальтер на тренинг нужно надевать покрепче и поменьше, – сказал он одной из девочек, продолжая прыгать, совершенно ровным голосом, дыхание его не сбилось.

И тут в двери появилась Татьяна. Мы все, незнакомец в том числе, как один перестали прыгать и замерли. Только Александр ещё пару раз подпрыгнул по инерции, громко стуча пятками.

– Здравствуйте, простите за опоздание, – сказала Татьяна всем. – Прекрасно, что вы уже познакомились и начали тренинг. Продолжайте, пожалуйста.

– Нет, сказал незнакомец, – мы не познакомились... Татьяна Александровна, они у вас такие хорошие. Послушные. Прыгают и думают: «А кто это тут нами командует? Откуда он нам на голову свалился?»

Говорил он всё это весело, совершенно дружелюбно. Голос у него был приятный, взрослый, но с трещинкой. И фразы он растягивал в конце немного, как поэт или кокетливая дама.

– Ах, вот как? – улыбнулась Татьяна и подошла к незнакомцу. – Тогда хочу с удовольствием вам представить моего доброго знакомого и нашего коллегу из Новосибирска. Валерия...

– Бальм, – вставил многозначительно теперь уже не незнакомец, а Валерий. – Прошу не путать с Бальмонтом или балом.

– Валерий Бальм, – торжественно и иронично провозгласила Татьяна. Валерий церемонно нам поклонился. – Валерий, – продолжила Татьяна, – изъявил желание поработать с нами. Он уже не первый год серьёзно занимается пантомимой в Новосибирске, но теперь судьба забросила его в Кемерово. Так что по мере возможности он будет одним из нас. Валера... Валерий очень хороший... специалист. Иногда он сможет с вами заниматься без меня. Безусловно, он украсит и усилит нашу студию... Короче, он всем будет полезен. Я рада, что он к нам присоединился.

Валерий Бальм снова нам поклонился.

– А теперь продолжайте, – сказала Татьяна, – я посмотрю. Со всеми познакомишься по ходу...

– Нет, нет, – ответил Валерий, – я так не могу. Я сам хочу позаниматься. Давно не надевал трико. Давно не стоял у станка. И я обожаю твои... Простите, ваши тренировки.

– Хорошо, становись ко всем... Поехали!

Валера оказался очень хорошим человеком. Сложным, непонятным, закрытым и даже таинственным. Он присутствовал в моей жизни недолго, но неоценимо значимо.

Я мало о нём знал и знаю. Татьяна также знала о нём совсем немного.

Ему было тогда лет... Года двадцать три – двадцать четыре. Из какой он вышел социальной среды, осталось загадкой. Как-то он проговорился, что круглый сирота, но с какого возраста и кто его воспитывал, я не спросил. Он был для меня очень взрослым человеком, вот я и не решился спросить.

То, как он говорил и о чём, как себя держал, какие читал книги, и то, как себя вёл, скорее указывало на хорошее воспитание и образование. Хотя высшего образования у него не было, потому что в Кемерово он приехал поступать на заочное отделение Института культуры. Там он и познакомился с Татьяной как с преподавателем.

Пантомимой он занимался до встречи с нами уже несколько лет. У него был очевидный опыт и мастерство. Но у кого он занимался, с кем и в каком коллективе, он так и не сообщил.

Валера Бальм много курил. Его зубы были жёлтыми от курева, и от него пахло табачищем. Думаю, он и выпивал, потому что периодически исчезал на неделю, а потом появлялся больной и бледный. Он вообще выглядел болезненным человеком.

Скорее всего Валера жил очень бедно и неприкаянно. Где он работал, где находил кров, никто не знал. Похоже, служил он где-то ночным сторожем или вахтёром. Это тогда был многих славный путь. Никакого адреса или номера телефона, по которому в случае очередного исчезновения его можно было бы найти, он не дал.

Одежды у него было мало. За две первые недели знакомства я знал весь его гардероб. Одна пара ботинок, две пары брюк, длинная, растянутая самовязаная чёрная кофта, три рубашки, шарфик, несвежая кроличья шапка, старые перчатки. И длинное, чёрное, тяжёлое пальто. Толстое и бесформенное.

Шапку свою Валера ненавидел, но обойтись без неё сибирской зимой не мог. Я не раз видел, как он морозным вечером, сторбившись, подгоняемый холодным ветром, широко и быстро шагал по дорожке к Институту пищевой промышленности. Но метров за двадцать до крыльца он сбавлял шаг, выпрямлялся, снимал шапку, комкал её и прятал в огромный карман пальто. Он делал так даже тогда, когда ни на крыльце, ни возле института никого не было, и он точно не знал, что я за ним наблюдаю... А в те дни, когда морозец был несильный и ветер не лютовал, он ходил вовсе без шапки.

Валера, очевидно, знал лучшие времена. Он умел носить одежду и нести себя. Ботинки его не бывали грязными, а рубашки и брюки нестираными. Вот только ему, похоже, негде и нечем было их погладить.

Но сильнее всего бросалось в глаза то, что Валера был страшно одинок. Он не то что был неухожен, хотя частенько приходил небритым и явно не имевшим возможности принять душ... О Валере точно никто не заботился. Никто его не любил и не присматривал за ним. Никто его нигде не ждал. Сейчас я думаю, что Валера был гей. Вот только я тогда и представления не имел о том, что такие люди бывают.

Курить из балетного класса он убегал пару раз за два часа занятий в студии. Убегал на лестницу. Курил у окна. Я однажды тайком видел его там. Он сел на холодный подоконник, весь ссутулился и обвис, как глубокий старик. Он курил, бормотал что-то и делал какие-то жесты рукой, которой держал сигарету. Потом я узнал, что так беседуют с собой ужасно одинокие люди.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.